

Дзугава

В НОМЕРЕ:

Стихи:

А. РАНЦАНЕ, Е. САРАН

Проза:

Д. ЗИГМОНТЕ

А. ЛЕВКИН

Публицистика

А. ДЬЯЧЕНКО

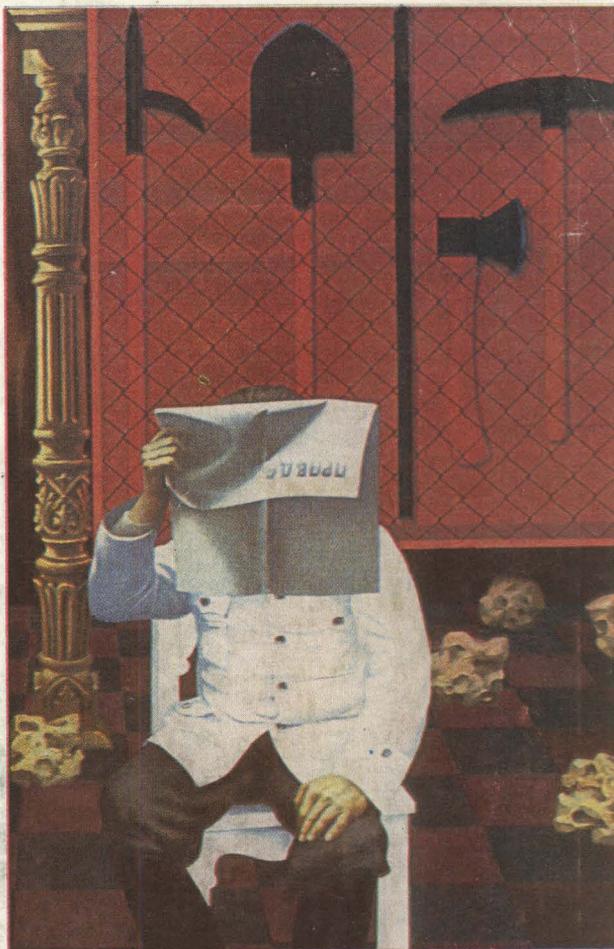
Разрывы в цепи

Меморіа

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

История моего
заключения

1988
3



Поздравляем
женщин!



Сигисмунд Видберг. Одеваясь

Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

3 (129)

МАРТ
1988

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- РАНЦАНЕ А. На пороге забытого дома. Стихи 3
ЗИГМОНТЕ Д. Проклятие. Роман. Продолжение 7
САРАН Е. Окно. Стихи 60
ЛЕВКИН А. Казенный дом. Ностальгия. Без-
умие. Свалка. Рассказы 63

Встречи

- ГЯДА С. Семь стихотворений и пауза 95

Публицистика

- ДЬЯЧЕНКО А. Разрывы в цепи 99

Memoria

- ЗАБОЛОЦКИЙ Н. Н. Об отце 105
ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. История моего заключения 107
Послесловие от редакции 115

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ.
РИГА

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Искусство

«Одна неправда нам в убыток...» 117

Книжная полка

НИКОЛАЕВА О. 1. «И ничего со мной не происходит...» 2. Зачем нужны стихи 121

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор.

Владлен ДОЗОРЦЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Янис СТРАДИНЬШ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАНС (зам. главного редактора).

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



Латышская поэтесса Анна РАНЦАНЕ родилась в деревне Ливзенненк Лудзенского района. Окончила Наутренскую среднюю школу, затем, в 1982 году — экономический факультет ЛГУ. Работала инженером-экономистом. Сейчас А. Ранцане учится на V курсе Литературного института им. Горького СП СССР, работает редактором в издательстве «Лиесма»; в 1987 году принята в Союз писателей. Вышли две книги ее стихов: «Молитва Дому» (1982), «Пятница» (1986). В переводе на русский язык стихи А. Ранцане публиковались в сборниках «Октава» (1987), «Сосны на дюнах» (1987), в журналах «Даугава» и «Родник».

НА ПОРОГЕ ЗАБЫТОГО ДОМА

Перевела Ольга ПЕТЕРСОН

* * *

Я гляжу, как яблоня носит святую, счастливую тягость,
Не зови меня, не мани — еще только август!

До ухода мне дай подышать полынью-травую,
К осени, камня прохладней, прильнуть и себя ощутить живою.

Георгины следят за мной так смиренно и нежно,
Яблоки яблоню за подол, словно дети, держат.

Дай теснее прильнуть и услышать потоки жизни
В яблочном семечке, в каждой височной ноющей жилке.

Жизнь земли, смерть цветка за плечом моим левым покамест,
Не зови меня, не мани — еще только август!

* * *

Занялось дыханье от пригоршни горького ветра,
Застонали в испуге и распахнулись двери.

От шагов вошедшей тревожно забились тени,
Словно скрипку задели — так вскрикнул порог в смятенье.

В горле у нас застряла еда, посуда вдруг раскололась.
Гостя по комнате шла, как слепая, еле касаясь пола.

Юбка на ней — сырая земля, тающий снег — сорочка.
В глаза нам внезапно ударил свет, острее, чем лемех, отточен.

Ждали мы слов пришелицы и цепенели,
А у нее в глазах дикие птицы летели.

Она подошла к одному из нас: ты меня вспомнил?
На окне занавеска дрогнула и поплыла со звоном.

Усмехнулась чужая и снегирей из рукава на него пустила.
(Не она ли его наутро снежной петлей удавила?)

Дохла — и буквы смешались в наших книгах и письмах,
Карандаши стали вздор нести, дали побег и листья.

Как удалилась гостя, мы еще долго молчали,
Только эхо ее шагов легкой былинкой качалось,

Не узнать нам было друг друга — стали чудными лица:
То метели по ним плясали, то пчелы жужжали в ресницах.

Мы рванулись за ней — остановить гостью хотя бы взглядом.
Порог про себя улыбнулся и вдруг обернулся садом.

ИЧА

Купавка по лугу бродила, по некошеным травам гуляла,
Путалась в повилিকে, за росу цеплялась — устала.

Что за странная ночь стояла — чеканили деньги осинки,
Пели улитки, дудели жуки на каждой былинке.

Прилегла под ольхой купавка, на мох опустилась пряный,
Распустила бурые волосы — до месяца прямо.

Зацепился за рог волосок, своенравный, кудрявый,
По нему, словно по мосту, месяц спустился на травы.

Что за странная ночь стояла — росла чешуя на иве.
Месяцу весь рожок исколол волосок смешливый.

Ночью удивительный свет затопил окрестные дали.
Что за странная ночь стояла — купавка с месяцем свадьбу играли.

Короткой она была — языка улитки короче.
Солнце проснулось, просунуло ножницы сквозь дымку ночи...

Купавка встала, дальше пустилась полями, лугами.
Под ольхою остались волосы, отрезанные лучами.

Что ни ночь месяц, глядя на них, заливался слезами,
Где капнут они, ручейки вились волосками.

Так мимо ив и осин, можжевельников бородастых
Бурая речка с именем странным заторопилась куда-то.

И-ча, И-ча, — ивовый лист падал в воду, смеялся, кружился:
«Спросите у месяца у самого, зачем он в купавку влюбился».

* * *

Ты крест на моем лице — огненная печать.
Слезами не смыть, улыбкой не скрыть и смертью его не снять
В узел пальцы, в жар виски — невоготу.
Обезображена, пусть. — Погляди на мою красоту!

Я испеку тебе хлеб, на крови замешав муку,
Твое имя забьет гортань, выговорить не смогу.
Мне богом назначен голос, вышедший из огня,
Но другим будет звонкое слово, а ты не услышишь меня.

Так легко, как листва, как иней с ветвей спадает,
Как цветы и трава растут... Так просто — как умирают,
Я нарисую твоё лицо на дорогах в острых камнях,
По которым к тебе поползу на коленях.

Но в недобрый час я проклята, в полночь звана по имени...
На земле и крови замешан, мой хлеб тебе горше полыни.
Все тушу я рукою огонь, не потушу никак.
Ты крест на моем лице, но не позорный знак!

* * *

Солнце черное, негасимое, подземельные ветры тьмы!
Не на земле — в земле, в земле с тобою встретимся мы.

Здесь дни — провалы, ночи — горы между тобой и мной,
Там мы станем одним дыханьем, станем душой одной.

Будь проклята здесь моя рука, если она не в твоей.
Смерть милосердна, смерть не пройдет мимо моих дверей.

Положит мне на глаза ладонь — и я попрошу ее,
Пусть нашу кровь в одном стволе вместе она сольет,

Пусть корни сплетет с корнями, смешает наши тела —
Заплатит за годы, когда я душу твою звала.

Ни солнце тебя не отнимет тогда, ни месяц не уведет,
Только объятье наше из земли полынью взойдет.

К ВЕРЕ

Тебя предавшая, тебя на кресте распявшая,
опустошенная по слезе — пока свой век не избуду —
позволь, я буду стоять у твоих дверей,
как проклятая осина, которую выбрал Иуда.

Нет прощенья деревьям за умершие почки,
я должна обратиться в песок, а не цвести.
То не серебренники, то горячие угли
судорожно зажимаю в горсти.

Карай и казни, но запрети насмеяться над жизнью,
дай мне до скончания века струной трепетать
и с отчаянной нежностью, с бесконечной болью
на прощание землю у ног твоих поцеловать.

* * *

Хочу отвести, как прядь волос,
с твоего лица эту боль,
чтобы черная тень волчицей
не охотилась за тобой,

и выцеловать из глаз
дым чьей-то зависти и забот.
Не ждать, не просить. Уйти —
стать черемухой у ворот.

* * *

У осенних цветов ужасно счастливые лица
и странная обреченность взгляда.
Им не спится.

За небесную бечеву держась,
бродят ночью цветы по саду,

трогают разгоряченные щеки,
к стеклам заморозков прижимаются лбом,
изучают свое отраженье.

И — со смехом, раскинув руки,
валятся в мятые влажные травы ничком.

1 ДЕКАБРЯ

Сталью налитый ветер губы до крови ранит.
Пустого гнезда тяжелей, усталость веки гнетет.
Зима, о былинку споткнувшись, руки вот-вот протянет
и подаст снежный лен, чтобы нам вытереть пот.

Гололедица или бессонница... Скрипят небесные двери,
повисает, забывшись, недописанный ветром слог.
Поле в одной рубашонке подходит поближе доверчиво,
ноги согрев у камня, что оком вдалеке зажег.

* * *

Я с собою возьму только горсточку белого ветра,
вкруг корней обовью... Ветра ведь там не найти.
Семь веков в сновиденьях буду мыть я твои ступени
и дыханье оставлю на этих страницах — гляди!

Все твои вещи читают ночами эти страницы,
стол вздыхает, лампа от резкого света жмурит глаза.
Деревья из сада ворвутся, тебя обступят —
где ты зарыл белый ветер, прикажут сказать.

Куда подевал ты ветер, который горел и смеялся,
был белее бересты, был полон цветов и пчел?
Утром ты вынешь из-под подушки камень
и увидишь, как из него моя кровь течет.

Вдруг померещится, что у дверей... Но меня не будет.
Мною станут камень, цветок и моя тетрадь.
Я с собою возьму только горсточку белого ветра,
вот ее-то тебе семь веков и не будет хватать.

* * *

Увидеть себя яснее. Нарисовать свой облик
в ночной темноте, чья соль глаза разъедает.
Впитаться в жесткий ломоть темноты не медля
и проглотить, хоть кусок царапает горло.

Взглядываться упорно в глубь своего отраженье,
долго-долго, совсем как в бездонный колодец,
пока под ресницами, как цветы, не пробьются слезы,
пока в своих глазах не увидишь ясно другие.

Вслушиваться в себя, как на пороге забытого дома,
и не кричать от страха. Спокойно сжать крик в ладони,
спрятать острое жало поглубже в сердце.
Вслушиваться, пока не услышишь ответный голос.

Произнести слово — Смерть — спокойно.
улыбнуться и ответ во тьме потушить рукою.
Произнести слово — Есмь — с улыбкой
и глядеть поутру, как в зеркало, в лица встречных.

ПРОКЛЯТИЕ

Р о м а н

Перевела Вика ДОРОШЕНКО

Улис родился в Вентспилсе, в довоенном, шумном, богатом Вентспилсе. Через город шли всякие товары в ту и в другую сторону, и хватало работы и денег на жизнь тем, кто вокруг этих товаров кормился. Его отец, бежавший от нищеты зачухшего поселка и от горькой участи своей любви, приплелся туда и об этом не жалел до той поры, пока не началась война, ее называли первой мировой войной, хотя бог войны тогда не во всю силу размахнулся, были еще уголки на свете, которые от войны убереглись. Но до войны был хоть какой-то достаток, и у Екаба, как он считал, тоже, и когда он встретил стройную блондинку, которой парень понравился, он недолго думая взял и женился; он знал, что не забудет свою Лину, но теперь она была лишь частью прошлого, а одним прошлым человек жить не может. У них родился крепкий мальчишка, и Екаб дал ему имя Ульдрик, сказав — это имя часто встречалось и у его родни в рыбацком поселке. Жена со своей стороны назвала пастору имя Петер, и сына крестили Ульдриком-Петером, а дома звали просто Улисом.

Улис помнил Вентспилс только таким, каким город был в его детстве —

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2.

шумным, напористым, спесивым и богатым. В порту ревели суда, они шли чередой, и гигантские элеваторы все засыпали и засыпали их украинской пшеницей, и когда корабли снова выходили в устье Венты, теперь уже доверху груженные, они вновь подавали голос, но теперь голос довольный, низкий, какой бывает у сытого.

Эти счастливые времена были недолги, началась война, начались мытарства беженцев, полные горя и лишений. У Улиса была младшая сестренка, но она этих мытарств не вынесла, может быть потому, что она была маленькая и короткие у нее были шажки. Они похоронили девочку в России, на далеком железнодорожном разъезде. Когда Улис впервые увидел Анну, ему казалось, такой теперь могла бы быть его сестричка. Странно, он никак не ожидал, что ее образ еще хранится в его памяти.

Когда они снова вернулись в Вентспилс, на родину Улиса, город изменился до неузнаваемости, пустыми стали элеваторы, и пустовала гавань, как заблудившиеся вертели там рыбацьи лодчонки. Работа в Вентспилсе еще имелась, однако ее было мало, и вся она, как оказалось, была поделена между теми, кто в городе оставался или же возвратился раньше Екаба. Не было даже надежды на перемены, Вентспилс — пустой и нищий, сумрачно смотрел он на массу возвратившихся своих сыновей, они стали для него пасынками и для них не было места за узким столом. Екаб посмотрел-посмотрел вокруг, ничего отрадного не увидел, и тогда он сел в поезд узкоколейки, единственное что осталось как память от времен оккупации. Леса были сильно прорежены, в вагончиках, кое-как залатанных, сидели и ехали люди. Они тоже ехали в поисках счастья? Нет, на таких коротких дорогах счастья не ищут.

Родители Екаба умерли, две сестры вышли замуж, третья жила одна. Она ничуть не обрадовалась возвращению брата, только сказала — кое-что из рыболовной снасти отца еще сохранилось и Екабу, хочет она того или не хочет, причитается его доля жалкого наследства.

Это было сказано ясно, по-деловому, теперь Екаб мог выбирать, как поступить. Он решил вернуться.

Уже отправляясь в путь, он еще спросил, жива ли Лина Лайнт.

— А куда она денется, — равнодушно сказала сестра.

— И дети есть?

— Целая орава.

— Значит и муж...

— О, муж! — отозвалась сестра и первый раз улыбнулась; то была особенная улыбка, вернее ее назвать усмешкой. — Он у нас без Библии ни шагу. — Посмотрела на брата и добавила: — Говорит, он — король.

— Да будет тебе! — усомнился Екаб. Он Карла еще помнил. Скажем как пьяницу.

— Так он говорит, — в такт своим словам кивала головой сестра. — Не знаю только, нашел ли он корону или все ищет, или она с неба упадет ему на голову.

Екаб поблагодарил за новости, какие уж есть, и отправился в путь. Он шел мимо отстроенной корчмы, и ему сильно захотелось туда завернуть. Потому что Екаб стал иногда заглядывать в рюмку. Однако же взял себя в руки и прошел мимо.

В конце концов зачем ему что-либо знать о каких-то там спрятанных в лесу «Лайнтах» и понимать, как у них там и что? Да и Лина... годы, много лет встало между ними, у каждого своя жизнь. Дети... У него правда один-единственный Улис, мало обласканный, но дорогой его сердцу, сын его черноволосый с задумчивым взглядом; всегда казалось, будто он витает в мечтах. Екаб думал — Улису будет хорошо у родного для отца моря, он научится ездить на черной рыбацкой лодке и будет возить на берег уловы, малые для того, чтобы разбогатеть и возгордиться, но достаточные, чтобы прокормиться самому и со временем содержать семью. У Лайнтов много детей... Быть может детям удастся сделать то, что Екабу с Линой в свое время было заказано.

Но когда они сюда приехали, Екаб понял, что о встречах и дружбе не может быть и речи, хутор «Лайнты» стоял особняком и люди там жили особняком, ну и пусть их, что в поселке других людей нету? А когда станет тоскливо, так разве в поселке нету корчмы? Екаб иногда в нее заглядывал. Они с Улисом ходили в море, и с уловами было точно так, как Екаб сначала думал, их хватало на то, чтобы люди могли свести концы с концами и чтобы они не относились свысока к мирским благам.

А в лесу прятались «Лайнты», там властвовал король, сам себя короновавший, и люди считали его «малость того» и все-таки немножко опасались. Ведь в конце концов хозяин «Лайнтов» не пьет в корчме, не гуляет, его дети растут в строгости и трудятся в поте лица, только он не пускает их в школу...

Екабу хотелось поговорить с Карлом. Но между ними стояла Лина, стояла воспоминания.

После того как до него дошел слух, что Карл Лайнт сорвал с жены одежду, когда она собралась идти в церковь, Екаб понял: с Карлом он говорить не будет — ни о королевских делах, ни о повседневной жизни в поселке, трудной как ходьба по песчаной дороге. Так будет лучше. Им нет нужды переходить дорогу друг другу. А его Улису... если для него и не растет невеста в этом поселке, так растет в каком-нибудь другом, разве их мало на побережье.

У каждого своя жизнь.

На море подули теплые ветры, и рыбаки вздохнули — в сетях стала мелькать и камбала. Не такая конечно жирная, как во второй половине лета, откормившаяся на сине-зеленых пастбищах моря, — сейчас она была довольно тощая, и все же камбала

есть камбала, и во дворах рыбаков началась подготовка к поездкам в глубь материка, к землепашцам, у них небось еще осталась мера-другая картошки, а самим им охота свежей рыбы. То были желанные поездки, прекрасная перемена после длинной зимы, после всего привычного, и никого не надо особо звать, желающие находились сами.

Ехать решил и Екаб. С полмешка картошки у него еще было, но ее все равно не растянешь до нового урожая. А камбала еще пойдет, чего ее для себя оставлять.

С ним поехал Улис. Молодому парню, родившемуся в Вентспилсе и побродившему, хоть и мальчишкой еще, по свету, совсем нелегко было проводить годы на одном и том же месте. Отец с сыном важно уселись на телегу, Екаб покрутил кнутом, и мать с порога избы помахала им рукой.

Позади остались низкие крыши поселка и хвастливая церковная колокольня, и Улис долго смотрел в лес, надеясь, что это незаметно, на самом же деле он глядел на «Лайнты». До сей поры ему не удавалось с Анной встретиться. Да и теперь как ни радовался он поездке, дымкой застила солнце мысль об Анне — ведь она теперь остается одна. Именно так он думал — одна, словно, будь он поблизости, он мог бы Анну защитить.

Отец закурил. Лошаденка бежала. Поселок оставался все дальше и дальше, сейчас будет и поворот. До свидания, поселок, до свидания, Анна, знаешь ли ты, что я уезжаю? Но не горюй, моя Анна, я вернусь!

Улис мало походил на отца. Он пошел в мать. Характером... ну да, у него еще не было случая проявить характер. Но иногда отцу все же казалось, что жить Улису будет нелегко. Очень уж он тихий. «О чем ты думаешь?» — иной раз спрашивал отец, когда сети были заброшены и они правили к берегу, а Улис глядел за волны вдаль. «Так просто», — отвечал Улис, и Екаб мог бы сказать — так просто ничего не бывает, всегда все имеет какую-то цель и смысл, но когда так говорил сын, отец готов был поверить. И все же ему хотелось бы знать, где блуждают мыслями Улис. Однако, казалось ему, он знает точно — негодными путями эти мысли идти не могут.

— Чего ты в лесу все высматриваешь? — не утерпел отец. Разве это дело, вдвоем только едут, а молчат как воды в рот набравши.

— Да так просто, — конечно ответил Улис.

— Там «Лайнты»... Ты когда-нибудь к ним близко подходил? Улис покраснел как девушка, и Екаб засмеялся.

— Они ни с кем не водят дружбы. Почему они ни с кем не дружат?

— Да это их самих спросить нужно.

Улис стал серьезным, серьезным был и Екаб.

— Послушай, отец... а может ли быть, что Карл Лайнт — король?

— Я все же думаю — нет, — убежденно ответил Екаб. Если сыну не говорить правду, до чего же дойти можно.

— Я тоже так считаю, — подавленно согласился Улис.

— Пусть каждый живет по своему разумению.

— Но они вовсе не хотят так жить!

Екаб даже повернулся боком, чтобы разглядеть лицо сына.

— Откуда же тебе это известно?

— Я так думаю, — смущенно отвечал Улис. И Екабу подумалось о том, о чем он про себя когда-то размышлял. В моем и в его дворе растут дети, да уж теперь и не дети, взрослые люди выросли.

— Уж не приглянулась ли тебе их дочка?

Улис молчал. Но отец не отставал, он хотел знать. И тогда Улис ответил — они всего два раза видели друг друга, какое ж там приглянулась не приглянулась. У него и мысли об тех людях нету.

— Я думаю, ты должен «Лайнты» обходить стороной, — наконец проговорил Екаб. — Не знаю как там насчет дел королевских, но на той усадьбе нет благодати.

— Не понимаю...

— Я и сам не понимаю, но это так.

Нет, про Лину Лайнт он сыну рассказывать не станет. Дети редко когда понимают, что их родители некогда тоже любили.

— Но мне их жалко, — сказал Улис.

Отец на это посмеялся — пускай Улис вспомнит, какой хутор «Лайнты» и какой у них — «Дюны». И хозяин «Лайнтов» растит не просто детей, а наследников короля. Тон его при этих словах против воли стал насмешлив. И никогда, никогда Карл не потерпит, чтобы на его дочь позарился кто-то, если он не принц.

— Я же ничего... — произнес Улис. — Но мне хотелось бы с Анной встречаться... если она сама захочет.

Екаб вспомнил, что он когда-то плавал на судах, и подумал, что его мальчишка еще совсем юнец и настоящая любовь к нему придет еще нескоро. А в «Лайнтах» злые собаки. Улис наверняка отсюда куда-нибудь подастся.

— Да, да, — только и сказал Екаб. — Главное, чтобы все было по чести.

И когда увидел, что его парень снова залился краской, то подумал, что за него можно быть совершенно спокойным.

Екаб пощелкал кнутом, и лошадь, прядая ушами, перешла на рысь.

Дорога ей была знакома. В эту сторону по осени возили молоть зерно, выросшее на их клочках земли. Мельница была старая, и старым был мост, бог весть как уцелевший в войну, не взорванный. Поросший мхом, он еще держался браво. Старые добротные вещи — они все такие. Мост поскрипывал, когда по нему ехали, но и только.

Весною вода утекла в море, а новой пока не набралось.

Мельничный пруд словно бы сплюснулся, и по водосбросу течет хилый ручеек. Мельник сам от нечего делать вышел к запруде и что-то там в воде старался разглядеть. Поравнявшись с ним, Екаб поздоровался, за ним и Улис. Мельник ответил небрежно, потом, взглядевшись, сделался любезней. Ясно что узнал и понимал конечно, что весной с побережья никто молоть муку не ездит. Но если у них на возу камбала...

Вот повезло-то! На мельнице нужна рыба.

Пока отец торговался с покупателем, Улис сошел с телеги, встал там же, где только что стоял мельник, и глядел вниз, в темный поток. Ничего там и нет вроде... и в то же время так много — темная, непонятная, знакомая и неизвестная жизнь происходила там по совсем неведомым человеку законам. День стоял жаркий, а тут прохладно, здесь, у вод Ирбе, всегда прохладно, и прохладна сама Ирбе, ключистая река: протекая через леса, она даже в жару и зной не нагревалась, как полагаюсь бы летом.

Улиса позвал отец. Сделка состоялась — к видимому удовольствию обеих сторон.

— Иди подыми заодно и кладь! — сказал отец, указывая на порядочный мешок. Улису бог дал силу, он поднял легко и словно бы нянчая уложил в телегу. Старшие смотрели одобрительно.

— Вот бы мне такого — подручным! — сказал мельник.

Улис застенчиво улыбнулся. Ему и в голову не приходило стать подручным, остаться на этой тенистой мельнице у прохладной Ирбе. Для него здесь слишком тихо. Тихо даже тогда, когда мельница молола так, что весь окрестный лес отзывался эхом. Его звали к себе поселок и море. И...

Да, ну конечно Анна. Удивительно, он один слышал ее голос. Но что же тут в сущности удивительного, Анна звала ведь только его, его одного.

— Пойдите! — окликнул их мельник, видя, что приезжие уже садятся в телегу. Он быстро зашел на мельницу. Лицо Екаба сияло от радостного предчувствия.

— Угостит, — сказал он, — мельник варит пиво из отборного ячменя.

И действительно — немного погодя мельник вышел с пузатым кувшином, и Екаб тут же обмакнул в него свои жиденькие усы.

— Важное! — сказал он, возвращая кувшин.

Мельник подал Улису, но тот сделал всего несколько глотков.

— Ей-богу, — продолжал свое мельник, — отдал бы ты мне этого парня, я бы из него такого мельника сделал! А у мельника, знаешь, хлеба всегда вдоволь. К нему хлеб сам идет, — добавил он и засмеялся, собрав вокруг глаз мелкие морщинки, и Улис подумал — верно, хлеба на мельнице хватает. Ему казалось, мельник и сам сладко пахнет хлебом, весь запорошенный невидимой мучной пылью.

Но остаться здесь? Нет, только не это.

Он вздохнул с облегчением, услышав отцовы слова:

— Нельзя, мельник, никак нельзя, он у меня единственный...

Екаб сам помаленьку выцедил кувшин, затем попрощался, и лошадка, отдохнув, без понуканий побежала рысью. Мельница постепенно отдалялась. Отец вытащил трубку и занялся ею. Улису очень хотелось сказать отцу что-нибудь хорошее, но он не умел найти слова. И отец бы удивился, что сын ни с того ни с сего...

От выпитого пива отец на половине пути уснул. Улис ехал теперь как бы один и мог воображать себе что пожелает. Лошадь он не подгонял. Для всех троих, можно сказать, поездка была удачной.

Анна стояла у стены сарая, на ней была светлая блузка и сама она — словно облитая светлым сияньем. Улис шел и смотрел и не замечал, что улыбается, но никак не мог сдержать улыбки, ведь он видел Анну, он был так счастлив!

Парень взял ее за обе руки и держал, не догадываясь отпустить, пока девушка сама не высвободилась. Они не знали что сказать друг другу, они никогда еще не виделись так — без помех, и теперь, после столь долгого ожидания оставшись наедине, смешались. Улис смахнул со лба мелкие капельки пота и потому наверное сказал:

— Жарко сегодня.

— Да, — согласилась Анна. — А почему ты со мной не поздоровался?

— Разве я не поздоровался? — удивился Улис.

— Нет.

— А можно мне еще поздороваться?

Анна кивнула, и тогда Улис обнял ее рукой за плечи, но здравствуй не сказал, и опять они долго молчали, летнее солнце было такое теплое, и на небе ни единого облачка.

— Мы так долго не виделись.

— Да. Все время отец... но сегодня его вызвали в волостное правление.

— За что это? — спросил Улис.

— Мне кажется, на этот раз пастор жаловался: Юрий еще в прошлом году должен был пройти обучение перед первым причастием, и мне тоже пришло время...

— Отец вас и к первому причастию не пускает?

— Об этом я меньше всего горюю, — отвечала Анна. — Знаешь, меня никогда не тянуло в церковь. Мать, та иногда плачет. А мне безразлично.

— Если б ты пошла к первому причастию, я мог бы к тебе подойти возле церкви и что-нибудь подарить.

— Что бы ты мне подарил?

— Не знаю... Что бы ты хотела?

Анна замялась и махнула рукой.

— Какое имеет значение, что бы я хотела... если отец все равно выбросит?

— Он у вас действительно зверь, — сказал Улис.

— А мне его иногда жаль. Он совсем-совсем одинок.

— Чего же он тогда не идет к людям?

На этот вопрос Анна ответить не могла. Отец был таким и другим быть не мог. Есть люди, которые родились словно для того, чтобы их всю жизнь озаряло ласковое солнце и нет такого ветра, от которого они не нашли бы заветрия. А Карл Лайнт видимо родился, чтобы одному стоять в бурю. С легким ветерком он бы вообще не знал что делать. Теперь он отрастил длинную бороду, уже по грудь, и она придавала хозяину «Лайнтов» еще больше степенности и неприступности.

— Да, — проговорил Улис, — он бы наверное рвал и метал, если бы увидел нас вместе.

Анна только вздохнула. То была грустная мысль, но вместе с нею всплыла и несказанная радость, зачем думать о печальных вещах и штормовых ветрах, если так ласково светит солнце и они сейчас вместе и грозная тень отца в этот миг далеко-далеко? Она крепко прижалась к парню и счастливая чувствовала его ласку.

— Давай сядем, — сказала Анна. — У нас ужас как много времени! Я не знаю, у меня еще никогда не было столько времени, своего времени!

— А если дома хватятся, что тебя нету?

— Дома ничего не скажут. Отцу не скажут. Старшие дети... тоже разбежались кто куда, младшим все равно, а мать... она рада, что мы в кои-то веки вырвемся на волю. Мать добрая, — задумчиво прибавила Анна, — но мать такая забитая... И мне иногда кажется, она не знает, что правильно, а что нет, и если отец поступит так, а не иначе, то мать и слова поперек не скажет, даже если...

— Даже если — что?

— Ничего, — быстро отвела вопрос Анна. Ей пришла в голову совсем нелепая мысль: если скажем отец поднял бы руку на кого-то из своих детей, мать надвинула бы платок на глаза и молчала, и заплакала бы...

Но раз Анна сказала «ничего», Улис попытаться не стал — что ему в общем-то до того, какая она, Лина Лайнт? Улис сказал, они могли бы сходить к морю, и Анна согласилась, конечно можно, она давно не была у моря. Они шли медленно, взявшись за руки, наслаждаясь своей чудесной свободой, шли сквозь лес на дюнах, пахший на жарком солнце как новый сруб из смолистых бревен. Они не стали выходить к морю, там мог кто-то повстречаться, им не нужно свидетелей их маленькому счастью. Море лежало почти неподвижное, иногда только вздрагивая от касаний невидимого, для человека неосязаемого ветра.

— Как захочет море учинить какое зло —
Гладкое как зеркало.
Как захочет чью-то душу взять —
Все волнами вздыбится, —

тихо продекламировала Анна и пристально взглянула на Улиса. — Я не хочу, чтобы ты ходил в море! Ты можешь утонуть!

Вместе с любовью пришли и другие, раньше незнакомые чувства — опасения, страха за любимого. Она смотрела на Улиса пристально, так пристально, словно видела его в первый и может быть в последний раз, и Улису врезался в память этот взгляд, он думал, этот взгляд не забудешь до своего смертного часа, хотя такому молодому парню до смерти, до смертного часа еще далеко...

— Но мы же рыбаки, — мягко возразил он. — Мы должны ходить в море, чем же мы будем жить? А когда я заработаю денег, я знаю, что я тебе подарю — янтарную брошку. Большую сакту — хочешь?

— Не надо ходить в море, — повторила Анна.

— Море ничего не может мне сделать! — отозвался Улис, молодой и смелый. — Но если ты хочешь, я буду осторожен, — пообещал он так просто, будто и в самом деле было достаточно обещания, решимости — и человек будет целиком и полностью застрахован от гнева грозной стихии. — Я буду очень беречься, я тебе обещаю, — говорил Улис, крепко держа Анну, — а ты за это обещай крепко ждать меня каждый раз, когда я выхожу в море.

— Ну как же иначе, — подтвердила Анна и совсем зарделась.

Ленивые, сытые мухи в конторе волостного правления разом поднялись в воздух. Только теперь стало видно, сколько их развелось, под потолком их роилась целая туча. Хозяин конторы наверно имел слабость к насекомым — за два-три дня они не могли так расплодиться.

Волостной старшина снова занес кулак, давая тем посетителю понять, что он может вновь им трахнуть по столу.

Посетитель оставил этот жест без внимания.

— Господин Крисберг, — проговорил волостной старшина, вкладывая изрядную долю насмешки в слово «господин», — вы у меня еще попляшете!

В начале разговора старшина обратился к Лайнту на «ты», но тот заметил — он не припомнит, чтобы они когда-то вместе свиней пасли. Ладно, он может и на «вы», но пусть Лайнт не обижается, что от этого кашу, которую он заварил, ему расхлебывать будет легче! Речь и правда зашла о конфирмации. Волостной старшина по праву отца волости что ли принялся разъяснять, как это плохо, что дети в семье растут язычниками и, не получив божьего благословения, выходят во взрослую жизнь.

— Нет такого закона, чтобы конфирмовать.

— Закон этот должен быть записан в сердце каждого человека!

— У нас в «Лайнтах» другие законы.

Что же волостной старшина — опять останется с носом? Он чувствовал, как набухает жилка на висках и кровь в ней часто так и быстро бьется. Не хватает только, чтобы из-за этого упрямого осла к старшине какая-нибудь хворь прицепилась!

Он старался всеми силами успокоиться, стал подчеркнuto вежлив, называл Лайнта господином Крисбергом, говоря: хозяин старого почтенного хутора должен бы показывать другим пример и поддерживать храм божий...

— Половина поселка нынешней весной снова жила впроголодь, — сказал Лайнт. — Разве от государства в таких случаях пособия не положено? В газетах я читал — по другим волостям комиссии ездили и особенно многодетным семьям выделяли пособие... В нашем поселке полно многодетных семей!

— Что такое пособия, я лучше вас знаю! — Волостной старшина опять чувствовал, как в висках колотится кровь. — И кому их выдавать, это мое дело!

— Да, это видно, это видно, — согласно кивнул Лайнт.

Негодяй, он смеется!

Волостной старшина пытался придать своему лицу самое презрительное выражение. Он смотрел на Лайнта как на какого-то червя, которого замечают лишь тогда, когда он у вас, так сказать, на кончике носа и его тогда щелчком сбрасывают.

— Крисберг, Крисберг, — сказал он, уже не прибегая к «господину», — если вы думаете, что вам удалось взять верх... то, доложу я вам, вы ошибаетесь.

Хозяин «Лайнтов» медленно качал головой, словно взвешивая слова старшины и обдумывая, что еще на это сказать.

— Вы идете против меня и против всей волости. Для всех вы камень преткновения... А со своей королевской манией вы стали прямо посмешищем! — Волостной старшина сам засмеялся, смех его шел как из громадной дубовой бочки и обычно производил на всех мощное впечатление, но не на Лайнта, ему и это хоть бы что. — За то, что дети не посещают школу, вы заплатили штраф. Теперь я увеличу размер штрафа, и вы будете плакать горькими слезами!

— Вряд ли я буду плакать, — вставил Лайнт.

— А то бы эти деньги пошли вашим детям, — продолжал староста, — но настолько, к сожалению, не простирается моя власть...

Он говорил истинную правду.

— Но скоро, Крисберг, хозяин «Лайнтов», — в голосе говорящего слышалось злорадство, — настанет день, когда вы будете у меня извиваться как червяк на крючке, и вы пожалеете, что отринули дружески протянутую руку. Пока еще у нас не конец света! Не забывайте, что всем вашим сыновьям предстоит служба в армии, а воинская повинность в стране — не-

зыблемый закон и тех, кто его не выполняет, сажают в тюрьму.

Хозяин «Лайнтов» сидел неподвижно, однако в лице его на мгновение что-то дрогнуло. Правда, лишь на мгновение.

— Ну так как же, Крисберг? Может быть кончим дурака валять, пошлем детей в школу и перед конфирмацией к пастору, и выбросим из головы королевские бредни? Я ведь не зверь, я говорю: кто мне идет навстречу, тому и я охотно...

— Мое царство не ваше царство, это говорю я, король из «Лайнтов», — произнес Карл голосом твердым и звучным. Настала тишина, и волостной старшина с досадой махнул рукой.

— Как знаете, как знаете, — сказал он морщась точно от зубной боли. — Пусть будет по-вашему. Да, хорошо, как я посмотрю, будет выглядеть такой король в тюрьме! Давно, сдастся мне, королей не сажали в тюрьму. Народ со всех концов повалит смотреть на такое чудо. А что касается ваших сыновей, то они, мне кажется, будут рады, что попадут на военную службу, к людям, подалее от ваших фокусов!

Лайнт не ответил.

— Еще раз спрашиваю — вы остаетесь при своем?

— Мои сыновья в армию не пойдут, — заявил Карл. — У меня свое государство, и они будут охранять его границы.

Волостной старшина рывком открыл выдвижной ящик и выложил на стол целый ворох бумаг. Разговор был окончен, Лайнт мог подняться и идти. Что он и сделал.

Километры тянулись один за другим. Теперь уж до дома близко.

— Скоро, скоро, — ободрил Карл лошадь, когда она уставши стала оглядываться на хозяина. — Скоро пойдешь в загон.

Дом, подумал он. Пустишь скотинку пастись, ей и хорошо, нету, видишь, у нее беспокойной души, которая все чего-то требует, ищет. Когда я пришел в «Лайнты», разве я не казался себе большим и могучим, всего я как будто достиг... Но вся жизнь, все искания были еще впереди и оказалось — все обманутые надежды. Однажды только странник мне показал отверстие небо, но то было одно мгновение, я знаю, там было много света, и все это было сплошное чудо, но я не умею это другим рассказать, а они совсем и не жаждут слышать!

Здесьние люди охотно принимают подарки, когда в закромах у них пусто и море замерзнет, но они не желают принять мудрое слово и совет. Волостной старшина вон какое пузо отрастил, а народ на этом берегу тощий и редко когда ест досыта. Пастор поет им о радостях царства небесного, и они этим рассказням не верят, однако же в церковь ходят — и там дремлют. Так дремали бы у себя дома, в кровати, довольно вы в будние дни вставляли ни свет ни заря! Идите ко мне, я расскажу вам другое, вам неизвестное, зачем вы желаете слушать лишь

надоевшие сказки? Затем, что они скорей нагоняют сон? Тогда я скажу вам: только такой жизни — в нужде и унижении — вы и достойны, вы, не видящие, что в вашей среде вырос человек, который мог бы вас научить как жить! Смейтесь надо мной, смейтесь, будет время — я посмеюсь над вами!

Невдалеке от границы между «Лайнтами» и своим хутором «Яки» чинил забор Ульдрик.

Прямо как сговорившись все люди в округе сегодня взялись чинить заборы, и по дороге тоже Карл видел человека с гвоздями и молотком у забора, но правду сказать, чего же тут удивляться — если забор завалился, его надо чинить, всякий рачительный хозяин держит свои заборы в порядке.

Карл вовсе не хотел останавливаться. Лошадь, та хотела, она была непрочь передохнуть. И Карл ей позволил. Что ж, можно и поговорить.

Они поздоровались, и Ульдрик спросил — ты откуда, а Карл и не думал держать в секрете свое путешествие и сказал — из волостного правления.

— Когда вы наконец кончите оба упрямяствовать, — сказал Ульдрик.

— Пусть он оставит меня в покое, я его не трогаю.

— Ну да, в покое. Все мы хотим покоя. А почему ты детей не пускаешь в школу?

— Дома я лучше сделаю из них грамотеев. Ты думаешь — учитель бог весть сколько знает?

— Так он же наверно больше тебя учился.

— Мои дети в его мудрости не нуждаются.

— Вырастут большие, уйдут в люди, тогда и мудрость придется.

— Мои дети никуда не уйдут из дома!

— Ты думаешь, «Лайнты» могут прокормить столько людей? Они поженятся, повыходят замуж, у них пойдут дети... Не умное ты дело, Карл, затеял.

Карл сумрачно глянул на соседа, но возражать не стал. Он думал: все они одинаковы, те что живут в поселке и те что за поселком, одну правду они себе вбили в голову и не знают, не желают знать, что на свете существует не одна правда... Чтобы его дети ушли в большой мир? Этому не бывать. Они родились в «Лайнтах» и в «Лайнтах» же, а не где-нибудь они умрут, в единственном месте, достойном детей короля побережья. Я не пущу их в мир непосвященных. Непосвященные — те же враги. Мои дети плоть от плоти моей кровь от крови моей, я не позволю их обижать, я сам распоряжусь их судьбой, буду сам их учить и любить, а если что — и наказывать.

Любить... Даже в мыслях всплывшее, это слово Лайнта смутило. Так оно видно и есть — любить тоже надо уметь. Можно ли этому научиться, или это должно быть в тебе от рождения? Карл понимал такую любовь, какую проповедует слово божье;

почтительность, покорность это и есть любовь. А другая, про которую поется в песнях? Карл видимо любви не испытал. Ни чьей-либо, ни к кому-либо.

Нет, к Анне — да... Иногда ему казалось: если бы такая девушка в те годы была его невестой, он бы ее действительно любил. Молился бы на нее, боялся за нее, подхватил бы на руки, случись на ее пути кочка или болото. Лина — та иди хоть через топь, он в ту сторону и не взглянет.

— Они там, в волостном правлении, хотят, чтобы я послал детей к первому причастию.

Ульдрик посмеялся.

— Ну да, хотеть они могут, но не приказать.

Посмеялся и Карл, но потом стал серьезным.

— Он мне говорит: вот подожди, когда подойдет твоим сыновьям призывной год, ты заплашешь под мою дудку.

— Да, — подтвердил Ульдрик. — Когда придет срок идти в солдаты, ты ничего не сможешь сделать.

— Сделаю, — сказал Карл. В голову ему пришла одна мысль.

— Ну нет, — усомнился Ульдрик. — Армия — дело государственное, тут тебе никто не позволит артачиться. Или наложат штраф.

— Поживем — увидим, — со значением произнес Карл, и Ульдрик не стал спорить. Карловы это сыновья, и Карлово это дело.

— А здоровые они у тебя как быки, — только и заметил Ульдрик.

— Моя кровь, — с гордостью ответил Карл. И Ульдрик снова согласился. Действительно не похоже, чтобы дети что-то унаследовали от матери, робкой и тихой Лины. Они росли краснощекие и малость диковатые, но именно такими и должны быть парни здесь, на побережье. Такими и положено быть детям короля побережья. Не на троне им сидеть, а вести вечный бой за свою правду.

За свою правду! Если бы Карл сумел им это внушить!

Ему самому она так ясна. Гораздо труднее объяснить ее другим. Другие так плохо понимают. Собственные дети и чужие люди. Иногда страшно угнетает одиночество. Куда пропал тот кудесник, который некогда просветил ум Карла, показал ему распахнутое небо? Тот знал бы. Тот сказал бы. И Карл слушал бы его речи как откровение, как чудо. Почему он не идет?

И, глядя на Ульдрика, он спросил:

— Ты тоже мне не веришь?

— Верю ли я не верю — что тебе от этого?

Опять увильнул. Это они умеют — увильвать.

— Если бы вы меня признали... — Карл помедлил, — я бы постарался, чтобы люди здесь весной не знали нужды...

Ульдрик молчал. Ну ясно, не верит, что Лайнт сможет что-то сделать. Никто не верит. Где моя корона?

— Ну иной-то раз до весны хватает. Если только зима лютая, тогда да... — раздумчиво говорил Ульдрик. — Не так все и плохо. Ну правда цена на рыбу стоит низкая. Но это ведь будто бы кризис. Свести концы с концами можно... Я один... Я говорю, мне что? Нету жены на шее. Живи себе спокойно...

— Спокойно! — с жаром вскричал Карл. — Вам лишь бы спокойно да была бы корка хлеба — с голоду не подохнуть, больше вам ничего не надо! Разве это человеческая жизнь? Разве так должны жить люди?

— С давних времен на этом берегу...

— Что ты знаешь про давние времена! Нас просто сделали нищими. Так было не вечно, понимаешь? И должно быть снова по-другому. Лучше должно быть!

— Красные тоже так говорили, — вздохнул Ульдрик. — А их, которые хотели добра, сажают в тюрьму. Смотрю я, упрячут и тебя.

— Я о красных слышать ничего не хочу, — сказал Карл. — Не хочу — и все! — Он смотрел на Ульдрика.

Тот, опустив голову, стал рыться в ящике с гвоздями.

— Понятное дело, — согласился он. Взял на ладонь несколько гвоздей и, глядя на них, взвесил их все и по одному, как будто бы первый раз их видел. — Я не могу назвать себя слабаком, но голой рукой ни одного из этих гвоздей в дерево не загоню. Молоток нужен — иначе гвоздь идти в дерево не хочет. Ты желаешь нашим людям помочь, но хотят ли они твоей помощи? Дай им жить по их разумению. Скажи — когда ты еще сам пропадал в корчме, мог кто-нибудь тебя отговорить, чтобы ты не ходил? Твоя неправота казалась тебе правотой. И у всех людей так же. Не сможешь ты им новые мозги вставить.

— Почему? — зло спросил Карл.

— Я твоей правде не верю.

— Так покажи мне какая лучше! Ну покажи!

— Придет справедливость. Я только думаю, это будет позднее. Всему свое время...

— А мне что же — сидеть и ждать?

— Так мне кажется, что тебе еще надо ждать.

— Но я не хочу ждать. Мне столько надо сделать!

— Да, да, — сказал Ульдрик. — Нам всем много чего надо сделать, нам всем отпущен такой малый, короткий срок. Езжай себе, сосед, мне надо чинить забор.

Он вбил гвоздь в жердь, потом еще один, и Карл понял, что Ульдрику и правда недосуг, надо делать дело, поняла это и лошадь, Карл чуть тронул вожжи, и лошадь сделала первый шаг — ближе к дому и к отдыху, к загону.

Хутор стоит на месте, спокойно стоит он на летнем послепопуденном солнце, пахнут сочась смолой сосны, пахнут первые луговые цветы, и с моря иной раз веет прохладой. Море тут совсем рядом, видимое ли невидимое, оно тут рядом.

Дома все в порядке, каждый занят своим делом, Анна с младшей сестрой Алмой полют огород не подымая головы. Скоро надо пропахивать картошку, думал Карл. В этом году первую сажали рано, и она выросла на славу. Штрафовать меня вздумали... Штраф заплатим! Не разорят они Лайнтов, а если разорят, пусть разоряют, уйдем жить в лес, и мои дети пойдут со мной...

Мысль эта ободряла, но совсем все же не могла успокоить душу. Разве Карл не знает, что сыновьям подходит срок призыва. Что делать, что делать?.. Против отцовой воли ребята не пойдут, это ясно, но как устоять против властей? Это был бы не король, а посмешище, подчинись он простым господам. Надо держаться во что бы то ни стало, это для Карла дело чести. Королевские сыновья не могут быть под началом у какого-то офицеришки.

Но как это сделать, надо еще придумать.

Плохо, что Карл Лайнт сам себе и законодатель и советчик. Жить в лесу, повторил он запавшую в голову мысль. Ладно, скажем не жить, а поселиться на время в лесу можно. Лес большой, он может укрыть. Не упускать это из виду.

Юрий шел распрягать лошадь. Парень рослый, подбористый, тихий. Тише всего, когда отец близко. С Анной, Карл слышал, тот был речист. Но с ней кто хочешь говорить станет. Анна все равно что маленький луч в окрестной мгле, веселый смех среди вечной хмурости, думал Карл и перевел взгляд снова на огород, где полола Анна.

— Ты что как безрукий! — рявкнул он на Юрия, когда тот, по мнению отца, слишком долго распрягал. Юрий поднял взгляд, и глаза его были грустные. Карл сказал бы — у него глаза побитой собаки. Наследник! Вот так наследник! Такой и жену привести не сумеет.

— Что я ни делаю — тебе все не угодить.

— А то ты стараешься? — ехидно усмехнулся отец.

Понурился Юрий продолжал делать свое дело. Карл бросил взгляд туда, где Муст рылся носом в собачьей площадке. Хорошего настроения опять как не бывало. И так всегда: когда Юрий на отцов окрик не ответит, отец ругает его дубиной, медным лбом; когда же тот хочет оправдаться, то честит рохлей. И так плохо, и так плохо. Стало уж забываться старое оскорбление, что хозяином в «Лайнтах» быть не ему, а сыну. Об этом здесь никто не поминал и не помянет, Карл это знал. И все же... Ему самому иногда становилось страшно и было непонятно, что настолько чужим может быть родной сын. И с годами отчуждение росло.

Карл широким шагом пошел в дом. Юрий отправился на конюшню убрать упряжь. Чужие, хуже чужих.

— Чем дело кончилось? — спросила Лина.

— Чем должно, тем и кончилось.

— А волостной старшина?..

— Ничего они не могут мне сделать, — усмехнулся Карл. Даже толком не посмотрел на жену.

Лина вздохнула и отошла в сторону.

Анна с сестренкой пололи уже которую борозду, и Анне сегодня они совсем не казались длинными. Они с Улисом скоро опять встретятся, скоро, скоро! Записочки Анна будет класть в дупло ивы, правда Улису идти далекоовато, но иначе нельзя, Анна не может отходить от дома. А Улис сказал — он готов шагать хоть на край света, лишь бы получить весточку от Анны.

Ей хотелось бы встретиться хоть завтра. Каждый день встречаться. Может быть даже два раза, в полдень и на закате солнца. Но это все одни мечты — если бы они могли встречаться раз в неделю, это было бы счастьем. Анна помнила, как они расставались, попрощались раз, потом еще раз, еще и еще и, сделав несколько шагов каждый в свою сторону, вновь сошлись, они не знали что еще сказать, только смотрели друг на друга, и Улис опять думал — вдруг да это последний раз... и старался запомнить каждую черту ее лица. Анна не думала ни о чем, она так остро ощущала свое молодое счастье, что вся жила только в нем.

И теперь, пропалывая на корточках длинную грядку, Анна думает об Улисе, он сейчас в поселке, может быть идет по дороге, а навстречу ему какая-нибудь девушка из поселка и приветливо здороваается, он ответит и остановится поговорить...

Он не должен останавливаться! Не должен разговаривать ни с какой девушкой, только с Анной. Какая ревность в ней разыграла ко всем девушкам поселка, какая зависть, они живут с Улисом по соседству и видят его по три раза в день!

Ох «Лайнты», ну зачем они росли в лес, ну зачем тот, кто их строил, выбрал лес, а не открытое место где поселок! Если бы отец жил вместе со всеми в поселке, как знать, может и он был бы такой как все, ходил бы в море, иногда заворачивал в корчму, иногда отправлялся в гости и приглашал бы других к себе, позволял бы своим детям встречаться с сельскими детьми. И...

И что еще?

Он бы добродушно смотрел на то, что его дочь встречается и разговаривает с сыном Екаба.

Думать дальше Анна боится. Ей больно.

Одна работа сменяет другую, так же как на лугу и в поле сменяют друг друга летние цветы. В поселке празднуют Иванов день, а в «Лайнтах» — спят.

В тот вечер дети короля смотрят, как над поселком загораются огни, но они не видят, как огни догорают: отец отсылает всех спать. Они работали как и каждый день, и вечерами их не надо отсылать спать, они сами ложатся. Но сегодня — россыпи огней над поселком...

Дети не смотрят на отца умоляющим взглядом. Они знают —

бесполезно. Даже Анна не просит — покорно потупив глаза желает отцу спокойной ночи и уходит в дом. Король еще на дворе, ждет, когда вернутся с пастбища Юрий и Янка, они приводят лошадей: ночь такая, что лучше скотину на воле не оставлять. Вечер теплый и тихий, звуки из поселка сюда почти не доходят, разве что особенно голосистая песня, но и то из-за дали слов не разобрать, поэтому здесь не знают, какие в поселке поют песни.

— Вы же не пойдете незванные на это дурацкое гульбище, — говорит отец Яну. Тот бормочет в ответ что-то, конечно согласное.

Всему свое место и время. Карл Лайнт идет спать, он кличет собак, которые все время вертелись поблизости, и говорит — теперь пусть сторожат, не подпускают чужих, и собаки, согласно виляя хвостами, обещают быть бдительными и не смыкать глаз.

Карл Лайнт идет спать. В «Лайнтах» скоро все будут спать, и пуская там, в поселке, пылают и светятся костры, отсюда никто на них не смотрит.

Этой ночью, Ивановой ночью, Анна спит крепким сном; когда Алма вошла, сестра сладко посапывала. Алма не торопясь разделась и посидела немного на краю кровати, думая о праздничных кострах и тех счастливых, которые сейчас вокруг них гуляют. Ей стало себя жаль, она чувствовала себя несчастной. Сверчок поет, особенно любит сверчок петь, когда — будь то вечером или днем — истопят хлебную печь. И сегодня вечером ее топили, мать не могла устроить своим детям праздника, так она хоть испекла им овощной пирог, правда из прошлогодней моркови, уже суховатой и без сладости. Пирога они наелись досыта, сейчас печь медленно остывает, и в теплых щелях поют сверчки.

Братья за стеной поворковали в своих постелях и смолкли, Алме тоже надоело сидеть и горевать, к тому же Анна так вкусно, так сладко дышала во сне. Послушная дочь, отец велел — и она спит. Алма ложится на свое место, потеснив перед тем малышку, и сон омыл и ее, как прогретая солнцем вода у самого берега моря, и она уснула глубоко и крепко.

Анна тихонечко поднялась, раз-другой потормошила сестру, потом даже толкнула в бок.

— Спит без задних ног!

Анна ступает осторожно — не скрипнуть бы половицей. Все правда крепко спят, видят первый сон, однако такой сон коварен — в самый неподходящий момент человек может проснуться. Неслышно выскользнула она из комнаты, даже дыхание затаила, она действительно не дышит, делая шаг за шагом, и вот она у входной двери...

Надо же, какая тугая задвижка!

Уже выйдя из дома, она спохватилась — дверь-то придется оставить открытой, если хочешь потом незамеченной прокрасться назад. А можно? Иванова ночь — колдовская ночь,

кругом бродят колдуны и ведьмы, недаром хозяева этой ночью держат скотину в хлеву.

Да что до этого Anne! Даже если б в кустах засели разбойники... пусть приходят и хоть все из «Лайнтов» вынесут вон. Anne надо идти, все остальное неважно. И она идет, еще с опаской перебегает она двор, но, очутившись в тени хлева, с облегчением переводит дух. Ну вот она и за оградой, вот она и в безопасности. Ни одной мысли больше о том, как она упадет домой и что ее тогда ждет...

Anna стоит на полянке среди сосен. Здесь море так близко, что слышно его шум, море тоже дышит размеренно, как дышат во сне. Anna ждет, она не сомневается, Улис придет.

И вот он идет, радостный и стремительный появляется он на поляне и сразу обнимает Anne.

— Ты меня долго ждала?

— Нет, нет, минутку-другую...

— И ты не боялась?

— Ничуть, — отвечает Anna.

Они сидят на мху, еще не успевшем остыть от солнца самого длинного в году дня.

— Я видела, горят праздничные костры, — мечтательно говорила Anna.

— Да. Я был... Но я только выжидал, когда приду сюда.

— Тебе так хотелось?

— Очень, — отвечает Улис, пряча лицо в Аннинных волосах. У нее густые волосы, и Улису кажется — они чуточку пахнут водяной мятой, хотя Anna ей-ей на водяной мяте не лежала.

— Отец вас конечно не пустил, — замечает Улис.

Anna кивает.

— Да, — говорит он. Они оба грустнеют, но лишь на мгновение. Юность не умеет долго горевать. Юность создана для радости. Они не знают что им делать, поэтому встают и направляются к морю.

— Вода теплая, — говорит Улис. — Я еще днем купался. Ты тоже ходишь купаться?

Anna застенчиво качает головой.

— Никогда не ходишь?

— Когда я еще была маленькая... то бывало.

— А теперь нет? Тогда ты должна попробовать!

Anna снова качает головой.

— Ты не бойся. Если не хочешь... я смотреть не буду. Но ты должна искупаться именно этой ночью, я постою на страже, вокруг ни живой души. Посмотри как сияет море! Anna!

Она хочет возразить, а сама так и тянет в воду, так и тянет.

— Ладно, — наконец соглашается она, — но ты отвернись, и если ты обещаешь не смотреть, даже одним глазком...

— Обещаю!

— И если не будешь смеяться, как я барахтаюсь... Ведь я не умею плавать!

Улис отвернулся, и Анна раздевается. Только быстро, быстро, ни секунды не медлить, а то вдруг посмотрит! Нет, Улис смотреть не станет, он честный, и все равно надо быстрее, а когда уж войдешь в воду, тогда все, вода надежней всяких одежек.

Анна заходит в воду и мелко дрожит, но бояться по-настоящему ей некогда, надо быстрее погрузиться по шею. Тепло? Холодно? Она не знает. Но как только она оказывается в воде, к ней возвращается ее шаловливость.

— Теперь можешь смотреть сколько хочешь!

— Анна, я иду к тебе!

— Нет! Не ходи!

И Улис послушно остается на берегу и ждет, Анна снова велит ему повернуться спиной, он подчиняется, он ничего не видит и тем не менее видит все, он никогда не видел Анну голой... но он видит, что она сейчас бредет к берегу, вода плещется вокруг ее ног, и вот шаги по мокрому твердому песку. А теперь она одевается... наверное уже оделась...

— Что ты делаешь! — вскрикивает Анна, когда Улис одним прыжком оказывается рядом и крепко ее обнимает, хотя на ней только одна рубашка.

— Анна! Анна!

Ее руки сами собой обхватывают Улиса за шею, иначе бы Анне не устоять, ей больше не на что опереться. Спешите, спешите, это самая короткая ночь, на северо-восточном горизонте уже занимается рассвет, просыпаются птицы, и чуткие цветы открывают глаза после недолгого сна. Вы выбрали себе самую короткую ночь, зачем именно ее, разве не могли вы потерпеть до осени, когда ночи длинные и темные хоть глаз выколи. Ведь эта ночь, Иванова ночь вся соткана из сумерек, из одних сумерек, не ночь, а одно название.

— Улис, Улис!

— Анна, теперь ты навек моя!

— Мне страшно, слышишь?

— Теперь ты ничего не бойся. Хочешь, я сегодня же пойду и поговорю с твоим отцом?

— Нет, — испуганно шепчет Анна, — не делай этого ни в коем случае. Как только он узнает, что мы... что я с тобой... он меня цепью прикует. Не отпустит меня ни на шаг, я знаю! Ты не должен ходить к отцу, не должен!

— Но что же нам тогда делать? — опечаленно спрашивает Улис.

— Посмотрим. Я сейчас не хочу ничего... только чтоб было еще много таких ночей.

И она тревожно смотрит на Улиса.

— Ты ведь меня не бросишь?

— Никогда в жизни!

Утренняя заря встает все ярче. Пора возвращаться домой тем, кто украдкой дом покинул.

— Когда я тебя снова увижу?

— Как только будет можно... Отец поедет косить дальние луга.

— Которые на Ирбе?

— Которые на Ирбе. Я постараюсь устроить так, чтобы мне с ним не ехать. Алма уже большая, пускай теперь едет она. Дома у женщины дел хватает. На будущей неделе смотри в дупле ивы...

— Я буду приходить каждый день.

Им надо расставаться как можно скорее, и так хочется побыть вместе как можно дольше. Анна снова обнимает Улиса за шею, она быстро, горячо шепчет, что хочет быть с ним и Улис не должен думать ни о какой другой девушке («Но я даже не знаю, есть ли в поселке девушки, я только знаю, что есть ты!»), и Анна будет думать только о нем...

Наконец они расстанутся, вот-вот взойдет солнце.

Как только Улис скрывается из вида, в ее воображении всплывают все опасности, какие ее подстерегают в столь поздний час раннего утра. Обычно первой — к скотине — встает мать, иногда она доит коров и выпускает их пастись сама, но бывает, что зайдет в девичью комнату и поднимет либо Анну либо Алму, так может случиться и сегодня. Если она увидит, что Анны нету... она побежит, побежит к отцу, и что тогда будет? Одних страх сковывает, других подхлестывает, подгоняет. Анна бросилась бежать, дом ведь недалеко, почему же сегодня до него такая длинная дорога? Анна запыхавшись выбегает из леса, хутор стоит, точно омываясь в могучих потоках света... Анна видит, ворота скотного двора открыты и открыта дверь дома. И так странно тихо, почему так тихо? Потом вякают обе собаки, при всей самоотверженной службе они видно хорошо выспались и теперь не прочь как следует поразмяться, бегут Анне навстречу, дружески резвясь и визжа от радости.

Анна быстро прячется за большую березу. Из дома выходит король «Лайнтов» и обводит взглядом свои луга и нивы так, словно вид окрестностей за эту ночь мог измениться. Его взгляд внимателен и зорок... Ой, увидел бы меня скорее, чтобы все, чему суждено быть, скорее кончилось, я не могу больше — если меня ожидает кара, пускай она падет сейчас!

Собаки, заметив хозяина, бросают стоящую за березой Анну и бегут к дому, Карл журит их ласковым голосом, каким редко разговаривает с людьми. Анне явственно слышно каждое слово, утро чистое и звонкое:

— Что, шельмы, опять вас где-то носило? Откуда вы такие взялись, разве собаке положено болтаться где ни попадя?

Потом отец заходит на конюшню и выводит двух лошадей, в обеих руках поводья. Он ведет их в загон, ведь Иванова ночь прошла и теперь конец всем чарам колдунов и ведьм, а которые не успели околдовать, тем дожидаться еще год такого же дня. Хозяин «Лайнтов» ведет своих коней, и рядом с кобылой весело пляшет жеребенок.

Большой загон — в эту сторону, мимо березы. Он и объединен всего меньше.

Анна падает в траву за березой, не высокая трава, не густая, она не может скрыть человека.

Но король «Лайнтов» проходит мимо шагах в десяти от своей дочери. Собаки за ним не бегут. Они во дворе кланчат у хозяйки молочной пены — налила бы им в кошачью миску, только сегодня, праздничное ведь утро, за такую верную службу!

Пока Лина разливает утренний удой в молочной будке, Анна проскальзывает в дом, проскальзывает в свою комнату, быстро-быстро срывает с себя одежду. Обе сестренки сладко спят.

Судьба была необычайно милостива к старшей дочери Лайнтов. Судьба казалось говорила: я не буду становиться на твоём пути, иди и поступай как знаешь, ты хочешь быть счастлива, ладно, будь счастлива, нет, я не только не встану на твоём пути, я тебе еще чуточку помогу, слышишь?

Мне жаль тебя, светловолосая Анна из «Лайнтов», говорит судьба.

Но ведь ты сейчас никого не слушаешь, рассуждает судьба дальше. Сейчас ты идешь на зарево, на яркое зарево, каким пылает перед тобой твоя любовь. Пускай же тебе достанется твоя доля счастья, я буду действовать честно, я не отниму у тебя от него ни крупинки, пусть тебе достанется все... сколько тебе отпущено.

Но ты меня и не слышишь, ты спишь, ты заснула, воздавая мне хвалу.

Не хвали меня, вздыхает судьба. Я тоже не вольна в своих днянях.

Как хорошо, что Анна еще совсем ребенок, наивно и убежденно думает Лина, ее мать. Она не знает, что раз в неделю этот ребенок встречается с Улисом из поселка и они никак не могут расстаться и что лишь благоволению судьбы они обязаны тем, что пока все им сходит с рук. Но какое уж там благоволение. Ведь когда-то должен гром грянуть, только об этом не думает ни Улис, ни Анна, и ничего не замечает Лина, и ускользнуло это и от глаз отца. Один Юрий кое о чем догадывается, но Юрий скорее даст изрубить себя на куски, чем выдаст тайну сестры. Ведь он видел Анну с Улисом вместе. И так странно стало у него на душе, его охватили неведомые прежде чувства, нежность к милой сестре с примесью зависти что ли: тех двоих вели незнакомые Юрию и все же такие понятные, щемящие и сладкие чувства... будет ли и ему суждено их испытать? Может быть нет, Юрий ведь слишком робок, чтобы подойти к какой-то девушке из поселка, да что говорить, он в поселок толком и не ходит, он ощущает себя некрасивым, неловким, ничтожным, совсем не стоящим внимания, хотя в действительности он бравый парень с чубом светлых волос и ловкими руками. Разве он не стоит внимания какой-нибудь девушки из поселка? Стоит, не

стоит... Темная и большая ложится тень отца на жизнь всех его детей, по своему разумению он своих детей любит, а дети отца только боятся, боятся.

Анна встречается с Улисом когда только есть возможность, а это бывает так ужасающе редко. Ведь отец никуда не уходит из дома, надо бы ехать на дальние луга, но льет дождь, все льет и льет. Анне не выбрать времени даже сбежать до ивы, до их почтового ящика, и если она и несет туда записку, то обычно там написано одно — нельзя, опять нельзя...

«Мой милый, мой единственный Улис!

Я думала: сегодня уж обязательно, но опять нельзя, отец ушиб ногу и ходить может только с палкой, куда же он такой пойдет! Мне-то его жаль, но еще жальче, что мы снова не встретимся. Каждый вечер я слышу, как в поселке лают собаки, мне только стоит пройти лес, и я была бы с тобой рядом. Но я не могу. Девушки сами к парням ведь не ходят, правда? И мне остается только ждать, когда нога у отца заживет и ты ко мне придешь. Почему то, чего жаждешь всей душой, исполняется так неохотно?

Твоя Анна».

И еще:

«Добрый тебе ласковый вечер!

Завтра наверное наши едут на луга, я истомилась ожиданием, мне иногда становится страшно, что ты, может быть, совсем так не скучаешь, как я... Это было бы ужасно, ведь я так люблю, и возможно ты надо мной смеешься. Это ужасно, когда смеются над человеком, который так любит. Но ты ведь говорил, что тоже любишь. Я еще прибегу сюда, когда они уедут, и положу записку, я хочу, чтобы ты знал совершенно точно и не ждал напрасно, мне было бы ужасно думать, что ты меня ждешь на нашем месте зря. Я нынче вечером буду думать только о тебе, я всегда думаю о тебе, и бывает — не слышу, как отец или мать мне что-то говорят, и меня ругают — я хожу как сонная. Но нет, я совсем не сонная, я просто всегда вижу перед глазами тебя, тебя и больше никого. Может это и нехорошо, что я так много о тебе думаю и к тому же в этом признаюсь, но я не могу иначе.

Твоя, только твоя Анна».

Так бы она ему написала, так и еще сердечней и прекрасней, ведь это же только часть того, что ей бы хотелось сказать Улису. Но она не могла так написать, Анна почти не ходила в школу, где бы она научилась так выражаться? Ведь мысли это одно, мысли надо облечь в слова, если хочешь донести их на бумаге до другого человека. У Анны не было для таких мыслей одежды, и рука ее не умела ловко водить огрызком карандаша.

Но Улис угадывал и так, хотя записка в дупле ивы сообщала только — могу или не могу и в котором часу.

Наконец Лайнты действительно поехали на Ирбенские луга, вот счастье-то, немислимое счастье! Больше недели кряду лил

дождь, правда не беспрестанно, но такой дождь с перерывами в страдную пору больше всего сено и гноит, он доводит хозяина до седых волос, треплет нервы и тот срывает досаду на своих, начиная с хозяйки и кончая кошкой, достается всем и каждому кто подвернется под руку. Анна истово молила бога, она ничуть не лукавила, когда просила у него ясной погоды, она только не сказала для какой надобности, бог же не маленький ребенок, бог все знает, а стало быть и то, зачем Анне ясная погода. И что бог может иметь против? Днем Анна работала не покладая рук, и если она отрывала несколько часов от сна, то никто от этого убытка не терпел. Видно бог так и понял Аннины молитвы; однажды утром небо расчистило ну просто под метлу, и так как еще вчера высоко летали ласточки и роса была такая, что пройди по двору — ноги вымоешь, то уж мешкать и выжидать было больше нечего, и косцы стали собираться, и Лина не уставала твердить, чтобы только не забыли ложки, прошлым летом уехали на сенокос без ложек. Ехал отец со старшими сыновьями, мать с дочерьми оставалась дома, им еще нечего там делать, парни сено растрясут сами, а тут картошка вся позарастала сорняком, на лугу в низине из-за дождя лежит неубранным сено, оно теперь остается на женщин, в полдень пойти туда посмотреть, как оно там и что надо делать.

Карл не сказал остающимся дома, чтобы все было «по чести», это само собой разумелось, что так, а не иначе должно быть в доме короля, пока его самого нет. Он долго и пристально глядел на Анну, но то был приветливый взгляд, Анна сама виновата, что под этим взглядом жарко покраснела. В глазах отца не было подозрительности, под конец он даже положил руку дочери на плечо и сказал:

— Ну так хозяйствуйте! А когда с сеном сладим, я поеду в Вентспилс и привезу тебе отрез на новое платье.

Замолчал, подумал про себя и добавил:

— А те, кто будет усердный и послушный, тоже кое-что получат.

Дети короля понурили головы и ничего не сказали. Они не привыкли, не были приучены вслух выражать свою радость. В благосклонности короля была примесь суровости. Он не дарил. Он оделял с высот своей власти.

Прикосновение отцовых рук Анна помнила еще долго, когда телега выкатила со двора на дорогу и потом скрылась в лесу. Отец... изредка ему вероятно хочется быть добрым. Но он не умеет. Не получается у него, думала Анна. И нельзя наверно быть добрым к тем, кто тебя боится. Мне хотелось бы не бояться отца. Но теперь у меня есть причина страшиться. Почему я не могу пойти к отцу и сказать: отец, послушай, я люблю Улиса, ты же не будешь против? Что бы он сделал, если бы я так сказала? Ударил? Не станет же отец бить своего ребенка. И что я плохого делаю?

Если бы я пошла к отцу...

Нет, нет, качает головой Анна. Никогда она не отважится.

Никогда?

— Анна, куда ты опять пропала, дело стоит! — зовет мать. Короля на хуторе нет, дух короля все время витает над домашними и заставляет их действовать в заведенном ритме. Вообще-то хорошо, что есть работа. Что бы Анна делала, не будь работы! Труд — первая необходимость. Труд — основа. И Анна идет работать.

На луга они ехали долго.

То есть ехал Карл, а сыновья шли пешком. Они шагали лесной дорогой и кусочек по большаку, который здесь был узок и разъезжен до рытвин, а потом опять шла лесная дорога, от недавних дождей вся в больших и маленьких лужах, и впереди влагой пахла река. Река чувствовалась уже сейчас, когда ее еще не было видно. Она возвещала о себе пятнами ириса, мелким тростником и густым ольшаником, незаметно сменившим стройные сосны. Вперед, только вперед. Лошадь обмахивалась хвостом и дергалась шелковой кожей, сгоняя с себя голодных слепней, так над ней и роившихся. Юрий сломал пышную ветку ольхи и стегал налетчиков, однако те взлетали нехотя лишь тогда, когда прут угодит прямо в них — больно уж сладка кровь. Люди вздохнули, когда из зеленой чащи вышли на открытое место, снова показался песок и впереди мерцала Ирбе. Здесь во время войны немцы построили мост, но видно чувствовали, что владычествовать им тут не вечно, мост завалился, и Лайнтам пришлось какое-то время ехать вдоль берега, до ближнего брода, где можно переправиться. Вода доходила до ступиц, хорошо еще что так, бывало что после дождей река разбухнет сверх меры. Лошадь, фыркая, выбралась на сушу, и Карл ее остановил, велел Юрию зачерпнуть ведро, напоить — а то она с жадностью наклонялась к воде, так что хомут на уши съехал.

Лошадь пила, а они стояли и ждали, они не разговаривали. То была очень тихая семья, хорошо если парни между собой перекинутся словом. Карлу хотелось бы поговорить с сыновьями, но слова у него выходили повелительные, не требующие, не ожидающие ответа. Откуда тут взяться охоте поболтать. Он смотрел на трех своих сыновей, не ребята — орлы, такими можно и гордиться. Смотрел и снова в его мозгу голосом злой вещуньи-кукушки прозвучали слова волостного старшины насчет воинской службы, которая предстоит всем этим трем орлам. Ясно уж, что от волостного старшины заступничества ждать не приходится... но так же ясно и то, что Лайнт своих сыновей под начало какого-нибудь жалкого капрала не отдаст. Воинская служба это просто издевательство над человеком, Карл помнил еще с царских времен, там и обывшему приходится туго, а что говорить про его ребят, выросших на воле и уединенно? На секунду в голове мелькнуло — а может не нужно было этого

уединения... но король тут же прогнал ущербную, трусливую, сомнительную мысль и сказал привычно повелительным тоном своим сыновьям, о которых только что размышлял с заботой и самому ему непривычной нежностью:

— Лошадь напилась. Мы что — до полдника здесь торчать будем?

Ян взял ведро — уже второе, лошадь его не допила — и вынул остаток на землю, на полоску белого клевера при дороге. И они тронулись дальше, лесом, где растет сплошь мачтовая сосна с багряными стволами, и потом наконец выбрались на открытое место — здесь шли покосы жителей поселка и на них малые сенные сараюшки. Пожалуй это самые одинокие постройки, ведь всего несколько дней в году вокруг сараев и в них копошатся люди, потом они вновь уходят, оставляя сараи набитые сухим душистым сеном, оно пахнет действительно так, что зимой по глубокому снегу сюда забредают косули и тонкими ногами с черными копытцами долго и тщетно скребутся в дверь, за которой — такой сладкий запах.

Пока еще здесь ничем не пахло, пока были только пустые сараи и на лугу зеленая трава, и впереди тяжелый рабочий день. Хоть бы погода постояла! Карл бросил взгляд на небо, оно было и правда чистое без единого подозрительного облачка. Юрий распрягал лошадь, и отец зашел в пустой сарай, где лишь в самых углах зацепилось еще по травинке сена, по сухой головке клевера. Он повесил свой черный пиджак на гвоздь, забитый в стену кем-то из прежних Лайнтов. Пиджак был сильно поношенный, кто же станет надевать на работу хорошую одежду. Говорят правда, что работа это великий праздник, но и в праздник особенно форсить нечего. Карл помнил, что он нынче утром обещал дочери. Он охотно съездит в Вентспилс, ему просто захотелось проветриться, съездить куда-нибудь из «Лайнтов».

Они потрудились на совесть — оглядевшись вокруг, решил Карл вечером, когда Вилис разложил костер и поставил на огонь чай с водяной мятой, тут же нарванный на речных приплесках. Они все любили мятный чай. Вилис был юркий, ловкий и в отсутствие отца приметлив и разговорчив, наверно самый речистый из детей. Сейчас молчал и он, только ноздри иногда раздувались, вдыхая запах мяты, шедший из бурлящего котла.

— Ну довольно, — проговорил отец, и Вилис послушно встал и снял с огня котел. Потом поставил на угли сковороду с нарезанным ломтиками салом и, поглядывая на нее одним глазом, принялся за каравай хлеба. Четверо мужчин и у всех отменный аппетит, тут целый каравай на одну трапезу нужно. Недаром в народе говорят: береги хлеб к сенокосу! Ну как бы то ни было, а на харчи в «Лайнтах» не скупятся, другое дело что с дырами на задую ходят, хоть и считаются королевские дети...

Сало поджарилось, его съели, и выпили чуть не весь котел чаю, изредка обмениваясь словом, если это действительно было

необходимо. Сыновья только отвечали на вопросы отца — от себя ни звука.

— Идите спать, — сказал Лайнт.

— А можно нам сбегать искупаться? — наконец набрался смелости Вилис. У Карла уж вертелось на языке «нет», но он подумал — что тут плохого, ребята на косьбе взмокли...

— Идите, — разрешил он, и шаги троих прошумели по лугу. Вернувшись, они тут же пошли в сарай спать, Карл остался один у гаснущего костра, не было нужды снова взбадривать огонь, ночь будет теплая. Он сидел и, вовсе не слушая, временами все же слышал, как громко, залиvisto стрекочут кузнечики и как Ирбе с говором прыгает по камням и зигзагом обтекает приплески с мятой. Ночь была с легкой дымкой, без звезд, и порою с моря набегал еле слышный ветерок.

Карл Лайнт вспомнил прошедшую войну, как немцы за одни сутки повыгоняли из домов всех селян, старых и молодых, и все покорно шли, что же им было делать, подставлять себя под дуло что ли? В то время Карл часто ходил до поселка, пошел и тогда, когда немцы грабили пожитки нищих рыбаков, в самом бедном доме все же находилось что-нибудь да прельщавшее ненасытных утроб пруссаков. На берегу они сознательно и методично пробивали борта и днища у лодок; даже если бы в поселке и застрял какой-то рыбак, все равно ему не на чем было бы выйти в море. Собрали в кучу и увезли якоря и цепи. Куда? Карл Лайнт не спрашивал, он старался меньше всего попадаться чужакам на глаза, неровен час — не понравится его физиономия, возьмут и ушлют вослед тем, которые уже бог весть где, не посчитаются с тем, что «Лайнты» стоят в лесу, к ним закон о высылке не относится. Карл не спросил и потому не узнал. В нем только копилась великая горечь против всех творящих несправедливость, они обращались с людьми хуже чем с вещью, вещь-то по крайней мере хранят, берегут, вещь может пригодиться, а человек... Всем известно, какая цена в такое время человеку...

Будь у меня власть...

Но ее не было. Если бы в поселке жизнь шла по-старому, Карл попробовал бы утопить горечь в вине, но ведь корчму сожгли и хозяйничали в ней теперь летучие мыши и совы, то была совсем неуютная корчма... И кругом разор и неизвестность, и на горизонтах дальними раскатами грохочет война... И тогда пришел тот странный человек. К счастью ли для Карла? Или может на его гибель? Он сказал, да, силе надо противопоставить только силу, с какой мерой к тебе подходят, с такой и ты, даже если это кривая мера...

Власть... Кто ему ее даст?

А ты возьми сам.

Просто смешно. Какую власть? Где мне, простому человеку, ее взять?

А ты думаешь — раньше, в стародавние времена, когда здесь

еще не было ни чужой веры, ни чужих ее проповедников, разве в те времена тут не было властителей? Были, но из своего племени, и они знали, что нужно моряку и что пахарю, и потому людям на этом белом песке жить было легко. Я по твоим глазам вижу, что ты не рядовой человек, ты мог бы властвовать...

Над кем? Над своим домашним скотом, над женой и детьми? Другие слушаться не станут, а эти и так слушают.

Тебе пристала королевская корона.

Карл честно противился загадочным и ой каким заманчивым речам незнакомца. Королевская корона, сказал он и засмеялся. Расскажи это кому-нибудь еще!

И тогда незнакомец показал ему небо разверстым.

И сейчас Лайнт уже не мог утверждать, что так оно действительно и было. Он так долго пролежал больной. Но он все-таки помнит какой-то большой, какой-то нездешний свет, который так его ослепил, что он долго потом был не в силах глядеть не щурясь на свет обыкновенный.

Карл вздрогнул. Над головой низко-низко пролетела сова, выкрикивая свое «кувитт», возможно она удивлялась — чего это в одиночку сидит человек у истлевших углей костра. Да, что он делает? Опять думает все о том же, опять он в недоумении, не зная что делать. Короны у него нет, и люди в поселке его слов будто не слышат. Всего один раз стал он во главе их, но и то случай был необыкновенный. Весной к ним явился какой-то человек, он вошел в поселок, таща за собой санки. Ему нужно помещение — провести собрание, так он сказал корчмарю. За плату можно, отвечал тот, хоть в церкви! Ведь корчмарь с чужими был речист. И они договорились — не в церкви, конечно, а в корчме. И чужак повесил на дверь корчмы испанский цветными карандашами лист — объявление о предвыборном собрании, которое проведет господин Р. Лев («Во фамилия!» — говорили рыбаки) и произнесет речь о положении рыбаков вообще и в свободной Латвии в частности. И поскольку он намеревался показать рыбакам такую диковинку, как кино, то двадцать пять рублей за вход, или в пересчете на новые деньги пятьдесят сантимов, — не сказать чтобы он заломил втридорога. Он и это объяснил корчмарю, который сомневался, пожелает ли хоть кто-нибудь за такие деньги слушать речи.

И все-таки желающие нашлись. В тот день Лайнт тоже явился в поселок, и пятьдесят сантимов в кармане у него всегда было. Послушаем его трепотню, усмехнулся в бороду Лайнт, глядя на разворотливого Льва. Он прибыл из самой Паланги, сообщил Лев, об этом он известил еще до продажи билетов, так сказать задаром. Он хотел составить себе ясное представление о положении рыбаков, чтобы потом доложить в сейме.

— Положение вы и так видите, — сказал один рыбак, однако же другие слушали с доверием. Приезжего заботит их жизнь! Стало быть он хороший человек!

И не одна монета в пятьдесят сантимов, которые могли быть истрачены с бóльшим толком, покатилась в обшарпанную кассу Льва.

Рыбакам довелось услышать прямо-таки чудеса, Лев начал со времен сотворения мира и именно их, можно сказать, осветил особенно подробно. Когда он наконец с грехом пополам добрался до войны, слушателям он уже надоел как горькая редька. Начался громовой кашель, у-у, глòтки у рыбаков луже-ные. Не ограничиваясь кашлем, они стали задавать Льву вопросы, но больше все — в насмешку над оратором. Спросил и Лайнт, и его вопрос был строг и ясен: кто позволил приезжему издеваться над рыбаками и их жизнью?

— Никто тут не издевается! — выкрикнул Лев, покраснев как рак.

— Все ваше поведение — издевательство! За что вы заставляете платить деньги? За ту ахинею, которую вы здесь порете?

— Это не ахинея, я депутат сейма, я пользуюсь правом неприкосновенности...

— Слышь, мужики, как вы думаете, можем мы к нему прикасаться или не можем? — громко спросил Лайнт и выпрямился во весь рост. Но до прикосновения дело не дошло. Лев оказался трусливее той фамилии, которую носил, и стал пробираться к выходу, квочча как курица и простерев руки над до-рогим кинопроектором.

Он со своими санками исчез в мартовском предвечернем сум-раке, санки заносило на наледи и Льва мотало по дороге из стороны в сторону. Нелегкая это служба — ловить голоса рыбаков. И настоящие рыбаки глядели ему вслед и смеялись от удовольствия, здорово они разделались с этим городским пры-щом, пускай приезжает таких хоть десяток!

Лайнт пытался с ними говорить, пытался втолковать, что им нужен настоящий представитель из своих...

Рыбаки не удержались чтобы не спросить, не сам ли Лайнт в представители метит, и когда он почувствовал как к лицу от злости приливает кровь, стоящие рядом стукнули его по плечу со словами: да ты не обижайся; Лайнт держался браво, они все держались браво и было бы просто грешно разойтись по до-мам, такое событие не отметив. И зачем идти по домам, раз они уже в корчме?

Один за другим они вызывались угостить Лайнта, у которого денег-то было больше всех. Когда Лайнт отказался, вся дружба куда и девалась, и немного погодя он в одиночестве шагал по той же дороге, по которой только что, чертовски злясь, убрался на своих санках Лев. И было такое мгновение, что Лайнту ей-богу хотелось разыскать этого человека и сказать ему...

А что сказать? Что здешние рыбаки пустые люди и даже самый захудалый представитель для них и то слишком хорош...

Так все это кончилось, не изменилось ничего, решительно ни-чего.

И не изменится также от ночных этих мыслей. Да-да, пора ложиться, завтра предстоит свалить большой кусок луга.

В ту ночь Анна вернулась домой только под утро, по существу это было уже утро и солнце дрожа поднималось над зубцами леса, как будто озябшее в утренней прохладе.

Анне не было холодно. Всю ночь ее грел Улисов пиджак.

— Ты сегодня вечером снова придешь? — шептал ей на ухо Улис, хотя они были одни и можно было смело говорить в полный голос. Но любви не свойственны громкие речи. Любви нравится объясняться вполголоса.

— Ну конечно приду, — отвечала Анна.

— Я просто не могу дожидаться вечера.

— Господи, мы же еще не успели расстаться!

— Но нам уже пора расставаться, — печально молвил Улис.

— Ты сегодня пойдешь в море?

Он кивнул.

— Сегодня я не буду бояться. Море такое спокойное. И все же я не хочу, чтобы ты ходил в море.

— Чудачка. Чем-то ведь жить надо.

— Наши в море не ходят.

— Ваши! Сколько же у вашей усадьбы земли?

Верно, Анна это прекрасно знала. И все же...

— А если нам взять и уехать куда-нибудь далеко, где нету моря? И там жить?

— Я другой работы не знаю, только морскую.

— Ты бы выучился!

Улис смеялся и целовал Анну, и она отзывалась на его поцелуи, и им было так хорошо, так невероятно хорошо. Анна не прятала от него свои губы и свое молодое тело, иначе и не могло быть, ведь Улис был для нее самый близкий человек, и все что у нее есть, все это само собой достояние и Улиса. Она лежала на его руке, и в мире не могло быть подушки мягче. Улис улыбался и смеялся, потом снова становился очень серьезным, и Анна не могла решить, какой он ей милее.

— Мне надо идти, пора идти!

— Но отца ведь нет дома.

— Мать...

— Ты говорила, она тебя любит.

— Но мать ужасно боится отца.

Тогда Улис встал и отпустил Анну и на опушке леса стоял и смотрел, как она, легкая и стройная, скрылась за большим старым сараем Лайнтов. Только у Лайнтов такой большой сарай, только у Лайнтов во всем поселке столько земли.

Тогда и Улис двинулся в путь, его снова ждало море, возле которого он только что был. Он любил море, и детские Аннины страхи вызывали у него смех. Бояться моря! Такому крепкому парню как он!

Легким шагом шел Улис берегом моря в поселок.

А Анну за сараем ждала мать.

Анна вздрогнула, ее эта встреча смутила, однако она успокоилась. Мать есть мать, матери нечего бояться.

— Где ты была?

Анна лихорадочно искала ответ. Ей не приходило в голову, что когда-то придется отвечать на такой вопрос.

— Я так просто... вышла.

— Анна, говори правду!

— Я ходила погулять, — сказала Анна. — К морю.

— Ночью?

— Днем же вы не пускаете, — отвечала Анна, и в ее мягком сердце родилась строптивость. — Вы же нас никуда не пускаете.

— Да разве мы... разве я. — Мать готова была заплакать. — Это все отец, сама знаешь.

Анна молчала.

— Но всю ночь... всю ночь!

— Откуда ты знаешь? — вырвалось у Анны и, когда уж это было сказано, она сильно стухнула и крепко сцепила руки.

— Анна, доченька! Ночью Мильда стала кричать... плакать... я зашла посмотреть, и твое место пустует... Я иду во двор, думаю — так просто ты вышла, а тебя нет, я стала звать, тебя нет, и я прямо не знала что делать...

— Цела я, никуда не делась, — отвечала Анна. Ну да, эта дуреха Мильда во всем виновата. На девчонку по ночам иногда находит, может быть это домовый облюбовал самую младшую из рода Лайнтов? Значит Мильда орала как резаная — так и мертвого поднять можно. Вот несчастье!

— Где ты была? — мать силилась говорить строго.

— Гуляла.

— Анна! Ты была не одна!

Она молчала и думала: что лучше — сказать, что была одна, или... Но одна — мать бы все равно не поверила.

Анна собрала всю свою храбрость и, глядя матери в глаза, сказала:

— Ты ведь и сама знаешь, с кем я была.

Лина фартуком закрыла глаза. Заплакала, но сухо так, без слез. Она еще не могла вполне оценить размеры бедствия; а если это никакое не бедствие, что у молодой девушки появился парень, милый?

Да, а муж? Что скажет муж, король?

— Что ты отцу ответишь? — спросила она, отнимая от глаз фартук.

Они смотрели друг на друга и молчали, а с хутора доносились звуки, говорящие о том, что коровы в хлеву становятся беспокойны, время дойки давно подошло.

— Мам... — наконец прошептала Анна и бросилась матери на шею, она знала — это слабая, совсем слабая опора, но если другой, сильной у нее нету? Они поплакали вместе, мать гладила Аннины плечи и сказала — такую проказницу выпороть стоит,

и Анна всхлипывала и не возражала. Что бы она могла сказать?

— Ты его очень любишь? — спросила мать. Улис, сын Екаба... Она не могла корить свою дочь. Может быть Анне выпадет та доля счастья, которая в свое время у матери была отнята — ее же родителями? Лина так не сделает. Лина желает Анне...

Да, но отец, отец!

— Люблю, — проговорила Анна, все еще прижимаясь лицом к материнскому плечу.

— Только чтоб отец не узнал, — сказала мать. — От отца мы должны это скрыть.

Да, ну теперь их в заговоре двое. Легче ли сохранить тайну двоим, чем одному?

— Если отец узнает, он нас убьет, — произнесла мать дрожащим голосом.

— Мне тоже так кажется.

— Ни слова отцу, ни полслова!

Да, это не лучший, не самый мудрый совет, какой может дать дочери мать. Но у Лины мягкое, слабое сердце, которое способно восстать лишь в минуты безысходного отчаяния и потом скоро, убоявшись своей отваги, сникнуть и снова покориться.

Касаясь друг друга плечом мать с дочерью вошли во двор и сразу же взялись доить коров.

Лайнты все косили и косили на речных лугах, и наконец вся трава лежала на земле, весь хлеб был съеден, от сала осталась одна кожа, и отец послал Юрия домой за съестным и за грабельщиками. Погода держалась ясная, лишь по вечерам горизонт затягивало легкой дымкой, но опасных дождевых лодок еще и в помине не было. Ну да ведь и ясная погода не может длиться вечно.

— Пускай придут Анна с Алмой, — распорядился Карл. Он уже соскучился — хотелось видеть на сенном лугу пестрый платок своей дочери.

Анна подчинилась без слов, как же иначе. Но Юрий прочел в глазах сестры глубокую печаль.

— Ничего там такого ужасного, — сказал ей Юрий. — Слепней в этом году меньше обыкновенного. И по вечерам какое купанье!

— Иди ты со своим купаньем! — отрезала Анна и отвела глаза в сторону. Так быстро минуло счастливое времечко! Они с Улисом конечно еще встретятся, как же иначе, но тогда все будет по-другому. Сейчас, когда мать была свидетельницей их краденого счастья, Анна чувствовала себя в безопасности. Однако она села на телегу рядом с припасами и сестрой Алмой, которая от души радовалась перемене, и по правде говоря все оставшиеся дома завидовали отъезжающим, одна мать, та поняла и на прощанье сказала:

— Держись и смотри не позорь дочерей Лайнтов! Там будут и другие косцы тоже...

Что Анне до других! У нее есть один, который ей снится во сне, которого хочется снова и снова видеть наяву. К тому же ведь Карл и близко не пустит своих детей к другим людям. Дети короля осуждены на королевское одиночество.

Ирбенские луга звенели от людских голосов, тут и там еще чиркали косы, не все этим летом так своевременно управились с работой. В одном конце смеялись, в другом перекликались, в третьем затягивали песню. Дети короля работали как в рот воды набравши, и по вечерам отец своих домочадцев хвалил. В разных концах горели костры, и у Лайнтов свой тоже, но это был самый тихий из всех костров. Карл иногда что-нибудь рассказывал, ему самому не нравилось, что у них так тихо, он даже пытался вспомнить что-то из приключений своей молодости. Но мало было этих приключений, не станешь ведь рассказывать, как ты пил в корчме, и про воображаемую корону тоже, а к тем временам, когда у кого-то здесь, на побережье, корона действительно была, дети относились прохладно. Нет у него дара жечь сердца словом, какой необходим пророку. А немой пророк — плохой пророк.

Они работали как звери, последний день остался, как бы не залило сено! Еще с раннего утра небосклон затянуло мутно-желтым, солнце палило сквозь дымку, и Анна с сестренкой не успевали подавать косям пить. Бочонок с простоквашей давно был опорожнен, девчонки заварили мятный чай, теперь он остыл, насколько мог остыть в таком пекле, и хотя он был накрыт тряпкой, сверху плавали и наверное тоже утоляли жажду мелкие мошки. Сарай был набит доверху, сейчас Алма с Ансом, взобравшись на верхотуру, воевали там с громадными ворохами сена, которые почти без перестану подавали наверх сильные мужские руки.

— У нас тут больше нет места! — крикнула сверху Алма.

— Должно быть место, куда ж оно девалось? — отозвался Карл. — Топчите крепче, вы что — сегодня не ели?

Ели действительно мало, в такую жару душа ничего не принимает. Да разве кому есть до этого дело, вороха сена плыли равнодушной чередой, то и дело закрывая люк сарая, дверь уже давно была забита. И когда внизу Юрий с Яном наконец издали радостный крик, лишь какое-то время спустя в люке показалось прямо багровое лицо Алмы. Отец воткнул в стену сарая вилы, Алма съехала по ним вниз, а Анс, все же мужчина, прыгнул наземь как кошка.

— Ну вот и все, — сказал хозяин «Лайнтов» и король, и на его суровом лице тоже был отсвет улыбки. Без слова разрешил он детям сходить искупаться, не стал одергивать и когда они загомоноли. Пусть видят другие косцы, что Лайнты первые все убрали. То были счастливые минуты, когда от Лайнта отлетели великие и тяжелые думы и он снова был крестьянином среди

крестьян. Он лег в тени сарая, здесь потягивало слабым ветерком, а небо хмурилось все больше. Молодежь после купания тут же стала собираться в путь, не было сомнений — если не польет после обеда, то вечером ударит ливень. Быстро запрягли лошадь, складывали вещи. Когда Лайнтова телега тронулась, с соседних лугов ее провожали завистливые взгляды. И Карл, правя лошадей, думал — нет, бог его все-таки любит, тот бог, что живет всех выше и все же видит на земле и последнюю букашку.

Домой они прибыли с первыми каплями дождя, которые сперва падали по отдельности, потом все гуще, и наконец хлынуло как из ведра.

— Вот радость-то, вот счастье, что все под крышей, — говорила Лина, глядя на мужа ласковым взглядом. Карл откашлялся и прошел к окну, ему не хотелось ни есть, ни пить, ему хотелось смотреть на дождь, как бы освящавший сделанную им работу.

Ну, им сделанную и детьми.

Мильда с Густом пригнали домой коров, мокрых — от них валил пар, мокрые были и пастушата. Однако никто не унывал, дождь теплый, они чувствовали себя героями, особенно когда мать заметила, что они могли пустить скотину домой и раньше — в такой дождь! Ерунда, отвечали они, что мы сахарные что ли? Давно в «Лайнтах» не было такого согласия, и если отец это согласие прямо и не поддерживал, то и нарушать тоже не нарушал, а это одно кое-что значило.

Почему не может быть всегда как сегодня, думала Лина, и над ее радостью скользнула тень, словно от летучей мыши. Она думала об Анне — чем это может кончиться. Из дымки давних лет белым платком помахала единственная любовь ее молодости, и Лина могла лишь горько улыбнуться ей вслед. Она покорилась, она смирилась, как покорялись сотни и сотни других женщин... и есть ли вообще такие, которые поступали иначе? Лина о таких не слыхала. Она жила в покорности. Она ведь наверно любила Карла, хотя по сути его боялась — именно потому что ничего поперек его воли не делала. Разве что только теперь...

Уже стемнело, когда дождь начал стихать. Теперь из черных туч падали редкие прохладные капли, налетел ветер, раскачал деревья, и они тоже сбрасывали с себя лишнюю влагу. Карл стоял на крыльце и разговаривал с собаками.

— Ну, как вы тут? — спрашивал он. — Как сторожили?

Собаки виляли хвостом так, словно в чем-то виноваты.

— Чужих-то здесь не было?

Собаки не отвечали. А если б умели говорить, тогда бы рассказали? По крайней мере Муст раза два крался за Анной следом, он определенно кое-что знал или подозревал. Однако и тот и другой молчали.

Узкоколейка, которую называли и улиткой, везла Карла в Вентспилс.

Улиткой поезд прозвали люди торопливые, нетерпеливые. По-ихнему все на свете делается слишком медленно. Но нравится им это или не нравится, поезд шел именно так и вообще в него следовало садиться только тем, которые не спешат. У Карла тоже претензий к паровичку не было, разве что к разговорам, неизбежно возникавшим между пассажирами. Он старался глядеть в окно, но для этого приходилось прямо-таки скобачиться, так и шею недолго вывихнуть. На каждой станции сходили и садились люди, у каждого было что-то на душе, и этим чем-то так приятно со спутником поделиться. Они говорили о лове, о том, что в этом году должна уродиться картошка, для крестьян на здешних песках это большое дело. А какая-то болтливая тетка уже третий раз принималась жаловаться на лесников, совсем из ума выжили — всю весну запрещали коров в лесу пасти, потом уж наконец, потом уж с пятого июля. Ну скажите на милость — что с пятого числа в лесу переменялось? Какое добро там было, которого теперь нету? Измываются над бедным рыбаком как хотят. Говорю вам — вот придут выборы, я и пальцем до ихних списков не дотронусь. И своего старика не пущу!

Вот это дельный разговор, однако присутствующие не выказывали восторга.

— Явитесь вы на выборы или нет — будто от этого что изменится, — наконец рассудил человек с большими усами и дубленным красным лицом.

Да, не изменится, подумал Карл и вспомнил «смелого» Льва, которого они в тот раз послали подальше. И что из того? Не Лев, так придет другой зверь, и зовись он хоть Ягненком, рыбакам от него все равно будет толку как от козла молока. Одного шута провалят, вместо него выберут другого, а у рыбаков в шторм так же будет рвать сети, и купить новые им не помогут, и новые станции штормового предупреждения строить не будут, а там, где станции есть, сведения будут поступать с большим опозданием, как и водится, как оно все время и было.

— Гнать всех этих благодетелей поганой метлой, — не унималась тетка. И усатый поддакнул:

— Но за это тебя могут упрятать за решетку.

— Одного упрячут, всех не упрячешь, — к собственному удивлению подал голос Карл и осекся, он не струсил, просто он уже отчетливо сознавал всю тщету таких разговоров.

Все тщетно, все уходит как дождь в береговой песок.

Карл еще круче повернулся к окну. Казалось, он считает сосны, скользящие мимо окна поезда. Он мог считать не торопясь, паровичок ведь тоже не спешил.

Сосны красивые. Правда, в войну их проредили, кое-где виднелись проплешины, но есть, есть еще молодая поросль. Только

бы не война... Но быть может этому краю, этим лодырям и тугодумам как раз и нужна война, нужно встряхнуть их, растрясти так, чтобы полетели клочья, вытряхнуть из обыденности?

Да ну. Давно ли с грохотом прокатилась одна война. Что изменилось? Не меняется ничего, не меняется так же, как на месте стоят взморские сосны, у всех них красно-бурая кора цвета закатного солнца, все они норовят хоть маленько перерастить одна другую, несмотря на то что высокому дереву трудно устоять в бурю.

— Вы не из библейников будете? — услышал Карл обращенный к нему вопрос. Спрашивала та самая тетка: решив один вопрос, она незамедлительно приступила к другому, помолчать она не могла, не всякий же день приходится ехать в поезде, не всякий день — встречаться с людьми.

Карла вопрос не удивил. Его черный костюм, почтенная борода... Он усмехнулся в эту бороду и ответил довольно мягко:

— Библией я не торгую. У меня одна Библия дома, ее я читаю.

— А как же, как же! — одобрила тетка. — Человек должен быть верующим. Нынешние люди уже не верят, от этого и все беды...

— Не вообще верить нужно, — наставительно отвечал Карл. — Надо знать во что верить. — Он посмотрел на свою собеседницу. — А во что верите вы?

— Да во что же — в Библию!

— Библию написали древние иудеи, откуда им было знать, какие заботы через тысячу лет будут мучить людей на нашем берегу?

Тетка оторопела.

— Но... э... — запинаясь она, и Карл с удовольствием отметил, что их слушают и другие. Возможно через минуту и пожалеет, что раскрыл рот, но сейчас он иначе не мог, мысль сама из него так и рвалась.

— Кто, если не мы сами, может знать наши нужды? — спрашивал он четко и громко. — Агитаторы что ли, или пасторы, невесты откуда сюда прибывшие? Им все равно, в какой церкви проповедовать, у них везде белый хлеб с маслом.

— Истинная правда, — пробурчал усатый.

— А разве нам они помогли? Кто же нам поможет?

— Ну да государство, — с сомнением произнес усатый. — Теперь у нас свое государство. В газетах пишут — президент ездит по стране. Может приедет и в наши края, тогда можно будет все ему выложить. А то пока он сам не видит и нам к нему доступа нету...

— От них нам милости не дожидаться. Нам тут, на месте, нужен человек, который все видит и будет заботиться, хлопотать...

— Это бы хорошо, милоч, — жалобно сказала тетка, — да где такого человека сыскать?

— Разве людей вокруг мало? — как и следовало ожидать, заволновался Карл. — Мы сами, которые здесь вот сидят...

— Сидеть-то сидим, а что мы высидели? — засмеялся усатый. — Ну тебя, дорогой, с твоими речами поперечными! Так можно договориться и до того, что я стану президентом... или ты, — добродушно усмехнулся он, но Карл почувствовал — в голову ему ударила кровь.

— А почему бы и нет? — глухо спросил он. — Ты думаешь, я людей не люблю? Я люблю... всех вас потому, что вам живется трудно, и потому, что я бы уж знал как вам помочь! Ведь вас же всех втоптывают в землю, и вы лезете в нее как гвозди под ударом молотка! Рыбаки должны сказать: если хотите нашу рыбу за бесценок, то сидите ни с чем! Как раньше в Дундаге мужики пошли против барона...

— Так то против барона, а теперь мы все свои люди. Да и тогда... далеко ли ушли? Тот же Шуберг, еще бы немножко и сгнил в тюрьме! Нет, дорогой, не те это речи. Наконец-то у нас свое государство... и с голоду никто еще не умер. Как-нибудь перебьемся. Я говорю, вот приедет президент, тогда я первый пойду и ему скажу, как эти дела надо делать. И ты тоже, дорогой, иди и скажи. Президент человек ученый, ему и карты в руки. Таким темным пням как мы лучше молчать.

— Да, да, с такими речами можно бог знает до чего докапаться, — сказала болтливая тетка с сердцем и тоже отвернулась от Карла. В вагончике настала тишина, колеса тарахтят на стыках, поезд катится, а кругом красивые Курземские леса, правда подвырубленные, ошипанные за военные годы, но так и брызжащие жизненной силой: дайте нам подрасти, пройдут годы — и вы удивитесь!

Карл снова, казалось, считал сосны. Много ли насчитал? В висках стучало. Зачем он вступил в разговор? Быть может надеялся, что хоть кроха из сказанного западет в головы людей? В такие минуты Карл в это верил и корона в такие минуты больно давила ему голову. Хоть бы с него ее сняли... Ему было горько, как если бы он нечаянно надкусил стебель полыни. Полынный сок выплунешь и пройдет, а эта горечь напоминает о себе долго.

Поезд выехал на открытое место. Скоро Вентспилс. Карл смотрит — пассажиры уже завели речь о другом, только по временам еще с сомнением бросают на него пугливые взгляды. За красного приняли что ли? Ну нет, Карл не красный. Он король без королевства.

Он заставил себя думать о доме, о своей светлой Анне. И о том, какие подарки купить своей королевне.

Куда идет сельский житель, приехавший в Вентспилс за покупками?

Все равно пойдет на Замоктовую улицу, там магазины один за другим, так и манят зайти. Карл подумал и действительно свернул к Замоктовой улице, мимо рынка, мимо «Торговли колониальными и мучными товарами». Что ему, простому человеку, делать в «Торговле»? А на рынке и подавно нечего. Там продают такие же как он, а покупают горожане. Карл на сей раз приехал покупать, не продавать. И на Замоктовой улице он открыл дверь магазина Фридберга — мануфактуры и готовой одежды. Открыл смело, он же не из тех деревенских, которые думают, что лавочник, его обслуживая, действительно ему и служит. Они тут сидели на камнях в ожидании, когда кто-нибудь зайдет в их лавку порастрясти свой кошелек. Кошелек у Карла был не особенно тугой, однако же на покупки, которые он наметил, хватит и еще останется. Он коротко сказал что ему нужно самому старшему, а значит наверно и главному в магазине — возможно то был сам Фридберг, хозяин? Все равно, услужливы они все. Поэтому Карл с удовольствием заходил в их магазины. Перед ним на прилавке размотали ткани одна пестрее другой, Карл даже растерялся.

— Какая она, ваша барышня?

Карл не сразу сообразил, что барышня — это его Анна. И он сказал с тихой гордостью — девушка она красивая, но по натуре скромная, вряд ли ей пойдут слишком яркие цвета. И Фридберг — а это был действительно он — тут же видимо понял, подобрал сдержанные тона, и Карл уже не сомневался, что именно такие ткани словно созданы для его старшей дочери. Фридберг отмерял и резал и не забыл осведомиться, не ждут ли дома подарков и другие дочери.

— Обязательно ждут, — признался Карл, и под конец ему право же пришлось посчитать, хватит ли у него на все покупки, деньги таяли как снег на солнце. Но он чувствовал и гордость от того, что он отец стольких детей, Фридберг уверял — он и не глядя может сказать, это красивые дети, разве у такого отца могут быть плохие? Карл сердился на себя, что с таким удовольствием слушает лестную болтовню. И кончилось дело тем, что он купил головной платок и Лине. Сколько лет он не делал жене подарков? Да и делал ли когда-нибудь вообще? Гордый как настоящий властелин Лайнт вышел из магазина, неся под мышкой тщательно упакованный и перевязанный сверток. И чуть ли не налетел на Екаба из своего поселка.

Так получилось, что оба они надумали ехать в Вентспилс в один день. Они не жаждали видеть друг друга и потому намеренно сели в разные вагоны. Но вот они стоят носом к носу и, может быть потому, что это в чужом краю, Карл первый чуть покривившись сказал:

— Ишь ты, все же столкнулись.

— Да, кто не встречается у себя дома, встречается в гостях, — согласился Екаб, выжидая, что Карл будет делать дальше. В его глазах Карл давно уже не был счастливым

соперником, где они те годы, те времена, те давние чувства, лишь кучка пепла от них осталась, да и ту развеял и рассеял ветер лет. Но Екаб не знал, что думает Карл, они все-таки чужие люди. Если Карл не сделает шага к сближению, Екаб тут же отойдет в сторону.

Но Карл стоял, настроенный мирно, и наконец сказал:

— Я тут кое-какие покупки сделал. Надо еще пройтись по скобяным лавкам. А ты как, сосед?

Екаб ничего не имел против. Они пошли по скобяным лавкам, искали нужные в хозяйстве товары, которых не держал Шмулович.

Карл искоса поглядывал на рыбака Екаба. Длинный он и тощий как высохшая береста. Смотри-ка, а ведь в моих годах.

— Тебе что — еда не идет впрок? Скоро ты и сеть не потянешь.

Екаб смущенно улыбнулся.

— Ерунда... А только в последнее время желудок иной раз так схватит что страх.

— К доктору сходить надо.

— Что доктор про мой желудок знать может, — посмеялся Екаб. Но Карл-то видел, что нести большой ящик гвоздей ему тяжело. И еще коса и кожи для постол... Ах вон что, у них на хуторе ходят в постолах? Да, да, в нужде Екаб живет, в нужде.

— Сегодня путем позавтракать не успел, — сказал Екаб. — Как ты насчет этого, сосед?

Здесь, в Вентспилсе, они по-дружески называли друг друга соседом. В поселке же вряд ли и узнают друг друга. Странные существа эти люди.

— Что ж, пойдем, — согласился Карл. И они зашли в ресторан третьего класса, только по названию ресторан, но кормить там кормят, а что им еще нужно? Подошел официант в засаленном белом фартуке и спросил, чего желают господа. В трактире кто платит, тот и господин, но только до той минуты, пока есть чем платить. Соседи заказали сосиски с капустой, блюдо это верное, его едят и господа и слуги, с той лишь разницей, что первым его подают на тарелке с золотой каемочкой. Здесь тарелки были потресканные, но все же не разваливались. Екаб несмело так спросил Карла, что бы тот сказал — если взять по малой чарочке. Спросил, а у самого покраснелись скулы, как у молодого парня, когда заговорит о девушках.

— Я — нет, — твердо отвечал Карл, но без злости. — Ты, если хочешь, пей, от чарочки никакого вреда не будет, но и хорошего тоже мало.

И Екаб радостный, словно получил разрешение от отца, заказал официанту в белом фартуке один графинчик, тот сразу взглянул почтительней. От одних сосисок с капустой хозяину третьеразрядного ресторана никакого прибытка.

— Ты совсем не принимаешь? — спросил Екаб, опрокинув первую стопку.

Карл покачал головой. Сосиски были, кажется, не первой свежести, капуста кислая — вырви глаз, но такой она сделалась к середине лета, когда уж поглядываешь — как там подрастает новая.

— Правильно, хорошего от водки мало. Но когда я выпью, желудок мой успокаивается.

Карл возражать не стал. Кто пьет, у того всегда другие зоны, чем у того, кто ее в рот не берет. Он уже пожалел, что принял приглашение Екаба. Сосиски под конец казались совсем невкусными. Екаб, тот не хулил, уписывал за обе щеки. Его дома наверняка едой не баловали. Ел и время от времени наливал себе в рюмочку, выпьет и скривится, и без того морщинистое его лицо соберется в глубокие складки. Скучно пить одному. Что ни говори, а для выпивки нужна компания.

— Ты долго в Вентспилсе прожил? — поинтересовался Карл. Екаб махнул рукой и, быстро прожевав, ответил:

— Да несколько лет будет...

— Так что ты город как свой карман знаешь?

— Э, только складскую часть, где простой народ, — отвечал Екаб и засмеялся над своими же словами.

— Да... — протяжно сказал Карл, и непонятно было, о чем он думает. Возможно не думал ни о чем.

Когда Екаб покачал в руке пустой графинчик, обмозговывая, не заказать ли еще, его колебаниям положил конец Карл. Он подозвал грязно-белого молодца и потребовал счет, и Екабу не оставалось ничего иного как вытащить из кармана кошелек, Карл позволил вытащить, ему и в голову не приходило оплачивать чужой расход. Они вышли на улицу, солнце уже перевалило за зенит, но палило во всю мочь, Карл смотрел на своего спутника, как тот пробует ловчее примостить мешок на плечи.

— До поезда еще время есть... Давай оставим вещи здесь, пусть приглядят, и пойдем прогуляться.

Екаб слушался, словно своей воли у него нету. Нет, она есть, но как здорово у них получилось, самому ему не пришло бы в голову пройти по старому милому Вентспилсу. И они не сговариваясь повернули в сторону порта. Там, на перекрестье узких улочек, подуло свежим ветром, каким он пришел с моря, еще не успев отдать берегу прохладу. Екаб стал разговорчив, рассказывал и показывал, пусть Карл посмотрит вон на ту лавку, куда Екаб ходил за продуктами, тогда там была хорошенькая такая продавщица, хозяйке доводилась падчерицей, но в доме была как родная. Сильно ему нравилась...

— Так это она?..

Екаб покачал головой. Нет, для той он был слишком низкого звания. Сказал и осекся, взглянув на Карла — что он? А он ничего. То ли не знает про любовь Екаба с Линой, то ли зная

правильно рассудил — прошлое оно прошлое и есть. Екаб обрадовался и стал рассказывать про свою нынешнюю жену, она жила на Гусиной улице...

— Когда повернем назад, я тебе покажу. Гусиная улица, понимаешь? Назови мне другой город, где есть Гусиная улица?

— А что она — какая-то особенная?

— Да ну! — махнул костлявой рукой Екаб. Солнце светило им обоим в лицо, у Екаба из-под шапки выбились волосы — жиденькие, желто-серые, такие... жалкие... Лица, наверное, гладила эти волосы. Помнит ли Екаб ласку? И вообще что вспоминают дольше — ласку или побои?

— Да, видишь, были когда-то и мы молодыми парнями, — проговорил Екаб, пытаясь выпятить впалую грудь.

Были? Почему это «были»? Если это он, Екаб, как расшатанный столб в ограде, пусть он других сюда не припутывает. Карл ничего не сказал, однако же разозлился. Нет, нету у него ничего общего с другими людьми, и с покладистым Екабом тоже.

На коричневом крашеном заборе дождь и ветер пощадил клочок бумаги грязно-серого цвета: «Голосуйте за...»

— Людей дурачат, — показал на бумагу узловатым пальцем Екаб. Карл пожал плечами. Что тут попусту слова тратить.

— Если б наконец нашелся человек, которого и впрямь заботит наша жизнь и нужда, — Екаб остановился, так видно ему было легче собраться с мыслями, — если б он и правда трахнул кулаком по столу: будет ли в конце концов человеческая жизнь у рыбаков, а? Хорошо бы так, а?

— Где ж такого человека взять? — коротко отвечал Карл. Слишком еще свеж был в памяти утренний разговор в вагоне узкоколейки.

— Нету у нас умных мужиков... Может когда наши сыновья вырастут, тогда? Слышь, почему ты своих ребят не пускаешь в школу?

Вольно или невольно Екаб задел у того больное место, может быть это в нем говорила выпитая водка... Карл бросил зло и резко, безо всякой оглядки на то, что они вот сейчас так ладно беседовали:

— Моих детей... моих сыновей ты оставь в покое! Мои дети — совсем другое дело, чем ваши! У моих детей впереди другая жизнь!

Проговорив это, он пытался себе представить, какой эта жизнь будет, и не мог... Почему будущее не открывается ему, не раздвигается толстый темный полог, за которым может быть скрыто все, и яркий солнечный свет тоже. Но нет. Завтрашний день остается во мраке неизвестности. И Екаб качал головой, жалкие пряди желто-серых волос трепыхались у щек.

— Несчастье ты готовишь своим детям.

— Оставь в покое! — повторил Карл.

— Пожалел бы их! Ведь ты же не дурак, Карл, Библию наизусть знаешь... Почему ж тебе своих детей не жалко, почему

тебе своей жены не жалко? Я знаю, как ты тогда с ней поступил, когда она пошла в церковь! Почему ты не разрешаешь Лине ходить в церковь? Все жены в церковь ходят, я тоже не так чтобы в бога верю, но бабы есть бабы, они думают — поговорят с богом и им станет легче. Почему ты не хочешь, чтобы твоей жене было легче?

— Замолчи ты!

— Не замолчу, — осмелел Екаб. — Ты у меня Лину когда-то отнял, ну по правде сказать не отнял, родители заставили и она покорилась, она же нежная как голубка и смиренная... А ты что с ней делаешь?

— Что ты в этих делах понимаешь?

— Понимаю, — продолжал Екаб, уже войдя в раж, о какой он храбрый! Графинчик не только успокоил боль в желудке, но и придал ему необоримой уверенности в себе. — Я знаю, ты думаешь, что ты выше нас! Король... Король, он делает добро, и первым долгом своим близким! А ты заедаешь их жизнь, палач значит ты, а не король!

Карл схватил Екаба за грудки, наверное просто хотел припугнуть, а может и ударить, но Екаб не дался, и дело кончилось тем, что они совсем неподобающим образом подрались и еще более неподобающим — попали в участок, полицейские в Вентспилсе не дремлют.

В участке дела их шли хуже некуда. Екаб обзывал Карла королем и с пьяным упорством пытался объяснить блюстителям порядка, из-за чего разгорелся сыр-бор, но те не могли или не хотели вникнуть и обоим деревенским скандалистам еще надавали тумачков.

Печальная то была поездка в Вентспилс и еще печальнее обратный путь, и уехать можно было только на завтра — ведь сразу-то из арестантской не выпустят. Полицейские связались с волостным правлением, и волостной старшина, у которого не было ни малейших причин Карла выгораживать, рассказал о нем все что знал, а это немало. Карла оштрафовали, один из них должен был платить штраф, хотя Екаб героически предлагал заплатить половину — он ведь тоже виноват, он дразнил... и тут у него совсем ни к месту вырвалось — «короля». Полицейские в участке сочли, что над ними издеваются, и Екаба вправду оштрафовали, он своего добился, теперь он не хуже Карла Лайнта, и Екаб был действительно вполне удовлетворен.

Хорошо еще покупки такие, что не испортились за день. Хорошо, что в корчме, то есть в ресторане третьего класса, оказались честные люди, сберегли вещи и теперь отдали уставшим бойцам. У обоих в кармане было извещение на уплату штрафа — такой суммы наличными, само собой, ни у того, ни у другого не было. А платить надо, и как можно скорее, не то полиция явится на дом и — стыда, стыда не оберешься!

На вокзал они шли по разным сторонам улицы, каждый со

своим мешком за плечами, а сверх него еще одна ноша — другим невидимый, но для себя очень ощутимый тяжелый мешок забот и стыда. Карлу он казался особенно тяжелым.

Эти люди в участке смеялись... Великую Карлову мечту, его убеждения они топтали ногами, и Екаб с хмельным добродушием пытался их уверить, что там, в поселке, Карл ей-богу же король... Щеки у Карла горели. Как у мальчишки. Мальчишкой его сделали. Посмешищем!

Вернувшись домой, отец швырнул подарки на стол, и вид его был столь ужасен, что дети не осмелились даже поблагодарить. Отец коротко, как топором отрубил, кому что предназначено. Каждый взял свое, и только цветастый платок остался лежать на столе. Никто не спрашивал кому он. Немного погодя Карл буркнул:

— Это матери.

Лина заплакала. Дети разбрелись кто куда. Она осталась одна с пышущим гневом отцом. Лина развернула платок, приложила к груди, потом снова положила на стол и молча смотрела на чудные цветы, расцветшие на платке, такие цветы здесь не росли ни на лугу, ни в саду. Лина утерла глаза углом фартука. Она думала — вот бы в платке сходить в церковь. И знала — не пойдет она в церковь. А может быть сходит? Ничего, она может сходить хотя бы на кладбище.

Эта мысль совсем успокоила ее неприхотливое сердце. Лина подняла глаза на мужа и думала, сказать что-нибудь или надо, потом тихонько сложила платок и вышла во двор.

Карл сидел и молчал. Молчал, когда в доме еще были люди, молчал и теперь, когда остался один. Ах да, не совсем один, на лавке у печи лежал Усан, любимый кот Анны. Привыкнув зимой к этому месту, он и летом его держался, хотя летом уж в пору коту самому греть холодные бока печи.

Упершись обоими локтями в стол и уткнувшись головой в большие ладони, Карл молчал.

Вот как кончилась поездка в Вентспилс за подарками.

Отец разрешил Анне отнести материал к портнихе. Была в поселке одна такая портниха, будто бы в Риге училась, правда не доучилась, заболела и вернулась назад, в родной поселок.

Анна сильно робела, когда шла к портнихе, зажав свою ношу под мышкой. Мастерница жила в корчме, в комнатухе при кухне. Жила вместе со своими кошками. Сколько у нее кошек, никто в точности сказать не мог. Одни говорили десять, другие называли дюжину, но считать, наверно, никто не считал, да и зачем? Кормить своих кошек швея — ее звали Мартой — никого не заставляла.

Анна постучала в коричневую крашеную дверь. Краска застыла большими темными наплывами, маляр был неважный.

— Входи! — отозвался голос.

Анна вошла. И сразу же чуть не упала, ей под ноги бросились три кота — с шипеньем, встопорщив шерсть. Нет, они ки-

нулись не на Анну, у них были свои кошачьи дела. И тут же скрылись в щели приоткрытой двери.

— Иди, иди! — снова позвал голос.

Через кухоньку, где булькало на огне мясное варево, Анна прошла в единственную комнату. В углу стоит утыканный булавами манекен. На столе разложены лоскутки ткани, а за столом сидит Марта, женщина неопределенного возраста с каким-то выцветшим лицом, с большими навывкате глазами. И смотрит на вошедшую.

— Я хочу... — начинает Анна и протягивает свой сверток. Ей трудно, прямо-таки страшно разговаривать с чужими людьми. Она же дитя Лайнтоу. К тому же у этой женщины глаза как английские булавки.

— Ну показывай, показывай! И садись.

Хорошо что Анна, прежде чем принять приглашение, огляделась — и садиться-то некуда. На двух стульях, одном табурете и еще на кровати лежат шесть кошек, Анна их мигом сосчитала. Лежат, даже глаза не открыли — посмотреть на гостью.

— Я постою, — сказала Анна, не зная толком, заметила ли хозяйка комнаты, что сесть некуда. Та равнодушно кивнула.

— Молодому и постоять можно.

Она не торопясь развернула ткань, разложила по всей длине и ширине, потом окинула взглядом фигуру Анны.

— Должно выйти.

Анна молча смотрела.

— Для летнего платья вроде бы поздновато... Но ты, может быть, хочешь к будущему лету?

— Нет, сейчас, — тихо выговорила Анна, казалось не разжмая губ, так трудно было их разлепить.

— Ну сейчас так сейчас. Где у меня сантиметр? — заерзала Марта и наконец встала, и Анна увидела, что у портнихи непомерно широкий зад. Возможно, от той самой болезни? Марта стала шарить по столу, нещадно распахивала тряпки во все стороны, сердилась. Сантиметр куда-то пропал.

— Вечно он куда-то денется, — жаловалась Марта не огорчаясь. Одна кошка открыла презрительные зеленые глаза, во весь рот зевнула и снова зажмурилась, всем своим видом показывая: от меня помощи не жди, сама куда-то задевала, сама и ищи.

Сантиметра портниха не нашла. Анна его углядела на заставленном разными безделушками комодке. Здесь были фарфоровый песик, желтые ватные цыплята, насквозь пропыленные — наверное от прошлой пасхи, и были там поздравительные открытки, черно-белые и цветные. Анне все они казались необычайно красивыми. Какое это счастье получать поздравления от людей, черно-белые и цветные открытки! Там же был и сантиметр, небрежно кинутый.

— Какого черта я его туда сунула, — удивилась Марта и,

спохватившись, сказала не то себе, не то Анне: — Грех-то какой — язык повернулся такие слова молвить...

Марта была одной из самых ревностных баптисток в поселке, но Анна этого не знала. Да, поселок маленький, а сколько религий. На каждый молебен бегала такую даль в другое село, где собирались братья и сестры по вере, и молилась богу единственно правильным путем. Было известно, что в случае страшного суда господь спасет только баптистов. На молебнах Марта чувствовала как на нее снисходит дух божий и умиленно с ним говорила. Но это — если дух явится. А без духа Марта была всего лишь недоучившейся швеей с исколотыми руками и широким задом; на таких мужики не поглядывают.

— С длинным рукавом шить будешь? — спросила Марта, заранее рассчитывая на согласие, и Анне пришлось собрать всю свою настойчивость, чтобы произнести:

— Я хочу с коротким.

— Все только об мирском, об мирском. Об душе никто не думает, — мрачно проговорила Марта, однако приняла в расчет желание своей заказчицы. Сейчас она была прежде всего портнихой и только уж потом слуга господня. Нелегко человеку в этом грешном мире остаться белому как лебедь. — Видно какому-нибудь парню понравиться хочешь? Ради отца с матерью ни короткий рукав, ни фестоны требовать не станут. Да...

— Какие фестоны?

— Мало есть избранных, — печально качала головой Марта и среди своей речи быстро бормотала цифру, какую показывал потресканный сантиметр, и корявым почерком ее записывала на мятом листке бумаги. — Потом, потом признание придет, но для многих будет уже поздно... Так ты значит и вырезанный ворот хочешь?

Теперь открыл глаза и другой лежащий на кровати кот и придирчиво Анну оглядел, своим кошачьим умом прикидывая, какой ворот лучше пойдет незнакомой девушке. Остальные кошки на стуле и табуретках не обращали на нее внимания. Анна чужая и к тому же не пахнет рыбой. Да и кошки сыты. Они могли всецело предаваться важному делу — сну.

Когда Анна уходила, две из них все же встрепнулись, бросились к двери, тонким жалобным голосом просились на волю.

— Ах вы деточки мои, кисаньки мои, куда же вы бежите? — пробовала Марта урезонить кошек. Те стояли на своем, и с болью в сердце, со страдальческим лицом она открыла дверь.

По дороге домой она встретила Улиса. Она втайне на это надеялась, и вот Улис стоял перед ней, и Анна сказала:

— Ты меня напугал! Как ты узнал?

— Что у меня — глаз нету? — И засмеялся, потом стал серьезен. — Ты уже знаешь — про моего отца и твоего?

— Как не знать, — склонила она голову набок.

— Вот видишь, — сказал Улис. — Беда какая.

— Беда какая, — эхом отозвалась Анна. — Отец ходит туча тучей. Говорит — попадись ему только... попадись кто-нибудь с вашего хутора на узенькой дорожке... Видишь, твой отец разболтал в поселке, и отец думает — нарочно...

Так они стояли, Анна теребила осиновый лист, лист был жесткий, как кожаный, и крутился на гибком черенке.

— Что нам теперь делать?

— Если бы наши отцы раньше были друзьями, — сказал Улис, — тогда, я считаю, это была бы беда. А так что ж — никакой разницы нет.

— И все же есть. Если б ты только знал, какой сейчас отец!

— Он мне тебя все равно бы не отдал, — деловито сказал Улис, и Анне оставалось только согласиться. — Мы должны думать сами... Анна, я коплю деньги. Помнишь, я говорил, что хочу купить тебе украшений. Но теперь покупать не буду, я думаю, когда мы сойдемся, деньги нам пригодятся...

— Сойдемся? — печально спросила Анна.

— А как же ты думаешь?

— Ничего я не думаю. — Анна говорила чистую правду.

Улис засмеялся и обнял Анну, она счастливая к нему прижалась, на какой-то миг ей стало легче, и она улыбнулась своему любимому.

— Ведь мы так же будем любить друг друга?

— Да, — сказала Анна.

— И ты все время будешь обо мне думать? А знаешь, я теперь всегда такой смелый, когда хожу в море. Но сейчас ведь не штормит. Осенью — вот тогда тебе придется еще крепче обо мне думать.

— Я тебя очень, очень люблю, — сказала Анна. Она говорила это при встрече и при прощанье, и когда она этого не говорила, она так думала.

— И я тебя тоже. — С Улисом было совершенно то же самое.

— В поселке Марта шьет мне платье, — расставаясь сказала Анна.

— Как мне хотелось бы подарить тебе новое платье! Много платьев! Чтобы ты каждый день ходила в новом.

— Мне не нужно. Только бы ты был со мной... только бы нам быть вместе.

Перед глазами Улиса промелькнуло виденье — мельница на речке Ирбе, куда они с отцом ездили продавать рыбу, и мельник, который сказал — ему как раз такой силач-подмастерье и нужен. А Улис сильный? Пожалуй да, он сам замечал, как в его мускулах играет сила. Что если бы им с Анной на той тихой мельнице...

Нет, эта мельница слишком близко. Им придется уйти далеко, чтобы они могли не опасаясь быть счастливы. И потом: поблизости должно быть море. И потом: Улис еще не прошел воинскую службу.

Как много набиралось таких «и потом»! Сколь узкую щель они оставляли для счастья!

Они прощались, Улис бережно снял с плеча Анны желтую хвоинку. Они оба засмеялись. И Анна думала: как оно будет, когда они наконец заживут вместе, муж и жена, будут ли они так же крепко любить друг друга? Как теперь? Да, будут и всю жизнь будут, всю долгую счастливую жизнь.

Улис шел домой, и дома все было по-прежнему, тихо, спокойно, отец сидел на порожке клетки и напевал в нос протяжную песню без слов. Что он — опять был в корчме? В последнее время он зачастил в корчму. И Улис с грустью думал: ах если бы отец тогда в Вентспилсе не выпил графинчик, как знать — может быть они с Карлом Лайнтом и нашли бы общий язык. Но теперь уж ничего не сделаешь. Отец сидит и поет, его видимо клонит в сон, глаза так и слипаются. Улис прошел мимо, не заговорив с отцом.

— Где это ты разгуливаешь, как жених? — окликнул его Екаб.

— Так просто ходил, — отвечал Улис.

— Пстой, пстой! Слышь, да ты же у меня совсем взрослый сын! Улис, тебе скоро пора жениться!

Улис не ответил.

— Девок в поселке полно... Хоть бы Юлию возьми, хоть Илзу, кого только пожелаешь!

Отца немного развезло. Когда его немножко развезет, то тянет поболтать.

— Да ладно, — сказал Улис. — Ты бы лучше, отец, лег спать. Нам же идти в море.

— Я могу хоть сейчас идти в море! — лихо отозвался отец. — У меня еще силенок ого-го! Екаб еще себя покажет... — Он задумался. — Слышь, Улис, давай осенью справим свадьбу!

— А на что мы справим?

— Наскребем! Нам дадут займы. Мне дадут. Корчмарь говорит — кому-кому, а тебе, Екаб, одолжу не думая сколько хошь, ты человек честный, ты отдашь, какой процент с тебя ни спроси!

— В том-то и дело, — больше не мог сдержаться Улис. — Ты слишком простой, в этом все дело! Тебя догола разденут, снимут последнюю рубаху, ты и тогда скажешь — это честные люди!

— Как ты с отцом говоришь, — напускал на себя строгость Екаб. — Я не позволю со мной так разговаривать. Ты знаешь я какой — Карлу Лайнту и тому пришлось идти на попятный.

— Уж этим бы тебе хвастать не следовало, — вздохнул Улис.

— Как не следовало? Я ему показал! Плевать мне, говорю, что ты король, и на твой хутор, и на твоих детей! Я выше тебя, я честный рыбак, своими мозолями деньги зарабатываю, ска-

зал я ему! — Екаб расправил плечи и важно взглянул на сына, а тому стало грустно до слез. Отец всегда любил пропустить чарку... а сейчас — не слишком ли часто он прикладывается?

Отца несло дальше.

— Говорю тебе, ты можешь взять самую лучшую девицу в поселке!

— Да кончай ты меня сватать. И к тому же здесь, в поселке, таких девушек нету, чтобы мне были по душе.

— Ах нету? — радостно засмеялся Екаб. — Еще не выросли? Так поедem искать дальше, как в песне поется: ко крыльцу северного ветра!

— С такой лодкой, как у нас, до крыльца северного ветра не доплыть, — сказал Улис. — Отец, нам нужна новая лодку!

— Учить меня будешь морскому делу! — прикрикнул отец. — Улис, сынок, я хочу чтобы ты был счастлив. — Голос Екаба снова сделался жалобным, а Улис думал: лучше бы он ругался! И ответил быстро и твердо:

— Если ты этого хочешь, так не ходи в корчму, не оставляй там наши деньги, наш заработок. Даже в этом бедном поселке мы самые бедные... Мне стыдно, что мы бедные, отец!

И пошел не оглядываясь — что смотреть, он знал и так: отец по-прежнему сидит на порожке клетки — худой, чудно так скрючившись, как высохший корень аира, похмельный и несчастный.

Что им с Анной теперь делать? Тайком сбежать куда-нибудь далеко, чтобы в «Лайнтах» улеглись бури и страсти, и тогда может быть какое-то время спустя вернуться, а может и вовсе не возвращаться, что им поселок. Но как им уйти и куда, если оба они молодые и нищие, у него за душой ни лата, ведь он — сын добродушного, легкомысленного Екаба, а у Анны отец — Лайнт, готовый зубами разорвать каждого чужака... Даже если бы Улис взял Анну и увел в далекую неизвестность... что станет с его родителями? Мать как складной ножик согнул пополам ревматизм. И отец, любитель рассказывать занятные морские истории, дряхлел с каждым годом все больше, надолго ли у него хватит сил орудовать веслами, если грести придется одному? Улис злился на отца и в то же время его жалел — несовместимые чувства и какие же нераздельные! Если б отец не пил, у них бы наверно было отложено хотя бы немного денег. Если бы у отца не такой добрый и мягкий характер... Иногда и Улису хотелось зайти в корчму и попробовать вкус водки, другие парни-рыбаки давно уже там побывали. Но он не ходил. Он иногда и сам не знал, чего он хочет и чего не хочет, что хорошо и что плохо, и на что он способен...

Мысли — одна обгоняет другую, все неясные, все до конца не додуманные, а к кому пойдешь за советом?

«Улис, что с нами будет?»

Ему кажется, он слышит — спрашивает Анна.

Я сам не знаю, Анна, что с нами будет.

На море был мертвый штиль, и рыбаки брали крупную жирную камбалу, палтуса, как ее называли на этом побережье.

То коричнево-золотыми, то чисто-серебряными боками сверкает в лодках камбала, когда рыбаки выходят на берег. Для поселка то были радостные дни. К осени камбала всегда жирнее, и осенняя рыба — не только источник дохода, но и подспорье в скудные зимние дни. Часть улова съедали, другую — коптили горячим способом, но главное — старались закоптить больше в холодном дыму, закоптить так, чтобы никакая порча ее не взяла до самой весны. В поселке дымили коптильни — распиленные надвое, уже отслужившие свой век лодки.

И хозяин «Лайнтов», хотя сам и не рыбак, любил копченую камбалу и собрался в поселок договориться насчет рыбы. Он взял с собой старшего сына Юрия и отправился в путь, и Юрий, послушный и молчаливый, шел рядом. Уж не хотелось ли Лайнту показать всем, какой у него покорный сын?

Юрий вырос статным парнем, сильно вымахали и младшие — Ян и Вилис. Этим летом отец как глянет на своих сыновей, его так и кольнет в сердце. Он все хотел завести разговор, да не мог собраться с духом. Однако сегодня, когда они, договорившись насчет камбалы, возвращались домой, хозяин «Лайнтов» сказал:

— Юрий, слушай, ты думал о том, что тебе идти в солдаты? Юрий пожал плечами. Это не ответ. И отец продолжал:

— Человеческим языком говори, думал?

— Если придется идти, пойду, — отвечал Юрий так равнодушно, будто речь шла о прогулке до поселка и обратно.

— И ты хочешь?

— Хочу ли я или не хочу, — Юрий снова пожал плечами, — хорошего там ничего нет.

— Так ты бы пошел?

— Ну раз все...

— А я тебе говорю — никуда ты не пойдешь!

— Как это так? — наконец все же удивился Юрий.

— Я тебя не пущу. Я не позволю, чтобы моими сыновьями командовали чужие люди.

— Вот как?

— А тебе бы наверное хотелось, да? — В Карле снова закипала злость. Никак не мог разговаривать с этим сыном как с человеком. Юрий, казалось, дразнил отца и тогда, когда вовсе о том не помышлял.

— Но службу ведь все обязаны пройти, — как-то вяло сказал Юрий, вопреки мнению отца.

— Ты не обязан! Ты — мой сын!

Тот посмотрел на отца, и во взгляде его была только жалость и грусть. Он мне не верит, думал Карл, не верит! Какие же найти слова, чтобы пробудить веру в сыне, наследнике?

— Неужто правда ты хочешь быть как все, как эти залипшие

чешуей рыбаки, которые не знают ни дня ни ночи, видят только свои сети да лодки и вечно живут в нищете...

— Они видят и море.

— Я тебя не пущу!

— А Ян с Вилисом... им тоже придет срок идти на военную службу, — ладил свое Юрий. — Всем полагается.

Карлу хотелось трясти кулаками... но он этого не делал, шел рядом с сыном и слышал, как сильно до боли колотится его сердце.

— Никуда вы не пойдете! В землю вас упрячу, но не пущу!

Юрий не сказал ни слова.

— Ты слышишь?

— Я бы лучше пошел, — тихо ответил он. — Ты, отец... я совсем не хочу отличаться от всех. Если б ты разрешил, я бы с охотой ходил в море... Мне нравится море, как и другим. Возможно ты действительно король... но мне совсем неохота...

Отец остановился и злыми глазами смотрел на Юрия, во взгляде которого была спокойная покорность.

— Ты... — только и смог выговорить Карл. — Ты не пойдешь рыбачить и не пойдешь в солдаты, понял? Ты будешь делать то что тебе велют, вот так! Если у тебя самого нет головы на плечах, то за тебя буду думать я, а ты будешь подчиняться, слышишь?

Юрий смотрел мимо отца, по виду — равнодушно. Неужели он не боится меня, думал Лайнт, неужто действительно не боится?

Какое-то время они так стояли не говоря ни слова. Карл пытался и не мог заглянуть сыну в глаза. Юрий спрятал свой взгляд за веками и длинными, как у женщины, ресницами. Он будет меня слушать, будет, еще как будет!

Бунтовать против отца грех, думал Юрий. Так его учили. Ой как грустно было у него на душе. Зачем мне дана такая сила, если я вечно должен покоряться?

— К вечеру запряги лошадь и поезжай за камбалой, — услышал он отцовский голос и очнулся как ото сна. Все было как раньше, как будет всегда. Всегда ли?

Вечером Юрий был у моря и смотрел, как по залитой солнечными лучами воде черные лодки идут к берегу. Улов опять был хороший, лодки шли грузные, еще издали возвещая, что рыбакам выпала удача. Пахло водой, водорослями и конечно рыбой, и Юрий с наслаждением вдыхал этот запах. Да, ему хочется ходить в море. И он знал, что не пойдет. «Почему?» — порой раздумывал Юрий. Он не смел сомневаться в мудрости отца... нет он просто думал, вряд ли отец так уж в точности все знает. С завистью наблюдал он, как рыбаки, усталые, но гордые своей добычей, вытаскивали лодки на берег, и ему по возможности хотелось быть среди них, быть одним из них. Жить у моря

и не видеть моря! Почему отец не пускает его в море? Ни на одно «почему» отец не дал ответа.

Юрий нагрузил полный воз камбалы. Удача делала рыбаков щедрыми, и Юрий наконец сказал:

— Хватит, так и лошадь не потянет!

— Так у тебя что — лошадь или дохлятина? — наперебой кричали рыбаки словно во хмелю, но они еще не успели выпить, корчма их еще ждала, и туда они определенно завернут, да и как ее миновать после такого успешного лова.

— Вам подручного не нужно? — с трудом выговорил Юрий, когда расплатился. Продавец поглядел так, словно Юрий говорил на иностранном языке.

— Что ж тебе — на отцовских харчах надоело?

— Я просто хочу в море, — сказал Юрий.

— А отец пустит?

— Я сам хочу.

— Я, сынок, с полоумным Лайнтом вздорить не стану, — сказал рыбак. — У вас своя жизнь, у нас своя. Поищи себе место, парень, где-нибудь еще.

Юрий сконфуженно отвернулся, и рыбак принялся скликать товарищей в корчму.

На скамейке у лавки Шмуловича, которая несмотря на поздний час была открыта, Юрия ждал отец. Зачем ждал? Юрий подъехал, что же тут сделаешь.

Медленно и торжественно поднялся Лайнт навстречу сыну. Кивком головы указал на корчму, вокруг которой уже стоял гомон.

— Они опять туда?

Сын кивнул.

— Слепые они и безмозглые как кроты. Нищие ведь, на эти деньги они могли бы заткнуть какую-то из своих прорех.

— А сколько прорех еще останется? — спросил Юрий. Отец пристально взглянул на него, словно удивляясь, что сын заговорил.

— Ишь ты, — вполголоса произнес он. — Да, у нужды прорех много, ты прав.

Лошадь обмахивалась хвостом. Даже сейчас, под вечер, всякая мошкарка не дает скотине покоя.

— Ну что, отец, поехали?

— У меня тут еще кое-какие дела, — решил что-то про себя Лайнт. — Ты поезжай домой. И рыбу сразу же положите на холод. И пускай мать готовит бадью для посола.

Юрий тронул лошадь и, оглянувшись, увидел, что отец направляется к корчме. Значит будет проповедовать, думал Юрий. Он постегивал лошадь, и так, с полным возом рыбы, но помрачневший, он и въехал во двор усадьбы.

А в корчме Карл беседовал с самим корчмарем.

Корчмарь с неудовольствием смотрел на входящего Карла.

Прибыли от него никакой, жди только, как бы не затеял смуту.

— Кружку пива-то ты можешь, — как бы между прочим говорит корчмарь.

Пива можно бы. Да не хочется, и Карл отрицательно качает головой.

— У тебя есть характер, — говорит корчмарь.

— Зато у других нету.

— Все от бога — люди на свете разные.

— Да, — соглашается Карл. Он пришел купить табаку. Жена просила, на огороде завелась блошка. Так он сказал, но корчмарь подумал — что-то другое у него на уме. Не иначе как снова вздумал порассуждать о чем-нибудь мудреном.

И действительно, как только корчмарь обслужил самых жажущих гостей и по корчме пошел благодушный гул голосов, Карл придвинулся к нему вплотную и спросил:

— Слушай, а правда это, что в армии должны служить все?

— А-а, так вот какой сапог тебе жмет, — отозвался собеседник. Карл кивнул. — Должны все. У них это называется обязательной воинской повинностью.

— А если я не хочу? И ребята не хотят?

— О-бя-за-тельная, — припечатал корчмарь. — Тут, милый мой, никуда не денешься.

Карл подавленно молчал.

— Ах так вам пришел срок, прижало к стенке?

— Юрию. Осенью.

— Если б еще хворь какая, — размышлял корчмарь. — Но у тебя же парни — соколы. Ни одна комиссия их не освободит. Ты эту мысль отбрось.

— Не могу я стерпеть, что их какой-то болван муштровать будет!

— Да, да, — подтвердил корчмарь. — Муштровать будет.

— Моих сыновей!

— Пора бы уж тебе бросить свои королевские бредни, — урезонивал его корчмарь. — Сам себе и другим голову дуришь. Ну какие здесь могут быть короли, не те времена, не те люди.

— Ты в этих делах ничего не смыслишь.

— В этих, как на духу говорю, нет, — согласился корчмарь и кисло улыбнулся. — Пиво пить будешь? Стыд прямо, мужик богатырь, а стакан пива выпить не может.

Как на грех в этот момент вошел Екаб. Он остановился с Карлом рядом, сказал «добрый вечер» — так что это могло относиться и к одному корчмарю, могло и ко всем, и ясно, что Карл не ответил, — и спросил себе одну стопочку.

Карл отвернул голову. Он смотрел в окно на другом конце корчмы, за которым уже начинали прясться нити сумерек.

— Ну так налить тебе? — снова спросил корчмарь. — Не горюй ты о сыне, пойдет отслужит, вернется считай генералом!

Тут Екаб не удержался, тоненько хихикнул, и его смех показался Карлу зловещим.

— Пойдут, пойдут служить твои королевичи! Вырвутся из твоих когтей, как знать — разумными людьми вернутся!

И ему поддакнул сосед с другой стороны, человек настолько же упитанный, насколько Екаб тощий.

— Пускай идут в солдаты, свет повидают! Ты же их тут как в бочке держишь.

У Карла грудь распирало от слов, вот-вот ее разорвет, ему стало трудно дышать. Слова из него рвались, и он заявил всей корчме и, как знать, может быть и тем, которые стояли за дверью и тоже хотели слышать, что здесь происходит:

— Пусть идут хоть все сыновья на свете, а мои сыновья не пойдут, и если кто за ними явится, я раскидаю тех как головошки!

В корчме настала тишина. Вот слова настоящего мужчины, казалась рыбакам, которым уже успел ударить в голову хмель. И они с почтением смотрели на Карла и слушали его слова.

— Чем же он не король, — как будто донеслось до него.

И Карл Лайнт выпрямился у стойки во весь свой рост.

— Корчмарь, налей им по одной чарке от меня, — произнес он, и лицо корчмаря тут же расплылось в любезной радостной улыбке. Раз так — хозяин «Лайнтов» в корчме желанный гость. Он поспешил исполнить заказ и только тогда спросил:

— А тебе?

Карл покачал головой, сперва колеблясь, а потом решительно и твердо. Однако он остался и смотрел, как мужички пьют на его деньги и за его здоровье, и ему казалось — ну теперь они друг друга понимают. Он теребил рукою бороду, когда подгулявшие старики из поселка называли его королем, и пытался убедить себя сам, что слова эти идут от сердца, что наконец-то он признан... Рыбаки пили, а он нет, и все пьянели, и он тоже. Станный это был вечер. Карлу казалось — наконец-то свершилось то, чего он жаждал... но назавтра, когда настало утро, самое тяжелое похмелье было у Карла Лайнта, да, правда, он вновь казался себе шутком, люди его возносили — не потому что уважали, а потому что он поил их водкой.

Он лежал в постели и скрипел зубами, хорошо что Лина уже ушла в хлев к скотине, а то спросила бы, что с мужем, и тогда бы ей не сдобровать.

В тот день Карл распределил между домашними работу, а сам ушел, сунув в карман ломоть хлеба.

— Куда ты? — не удержалась жена.

— Не твое дело.

Муст с Рыжим увязались было следом. Но оба получили по холке. Король Лайнт пошел к лесу, и домашние, с минуту поглядев ему вслед, взялись каждый за свое дело.

Отец вернулся домой как раз к ужину. Он вернулся спокойный и даже как будто приветливый, но конечно и словом не

обмолвился где был. Правда никто у него и не спрашивал. Лина, умевшая читать по лицу мужа, обронила, что Анна очень печалилась — у нее сегодня готово платье, а денег нету, забрать не на что.

— Разве вы не знаете, где деньги? — спросил Карл, но потом спохватившись сказал строго: — Так и надо, женщинам и детям нечего в деньгах копаться. А то придет кто чужой, ему и отдадут... — Он позвал Анну и дал ей денег — завтра тоже день будет, и Анна взяла и тихо сказала спасибо. Сердце Лайнта в тот вечер оттаяло, он подумал и дал дочери еще один лат.

— Возьми у Шмуловича ребятам конфет.

— Какой у вас добрый отец, — поспешила вставить Линг, ее голос был точно медом смазанный, ей так хотелось спокойствия и согласия, что она, их почувствовав, совсем преобразилась. Однако Карлу вмешательство жены не понравилось, он сердито глянул и отвернулся, и Лина, читавшая на лице мужа как в книге, тут же осеклась и не проронила больше ни слова.

●кончанне следует



Порт Энгуре.

Фото Роланда Фогта



ОКНО

* * *

Был зимний вечер. Белый снег на черном
Карнизе, днем подтаявший, под вечер
Покрылся коркой. И шаги хрустели
По черному асфальту, оставляя
Вокруг себя сиянье мелких трещин.

Мы вышли из тепла. Там было желто,
Как в янтаре прозрачном. Шелестели
Страницы; лампа, шею наклонив,
Рассматривала строчки. Голоса,
Пофехтовав, отскакивали к стенам,
По стенам поднимались к потолку
И там, смешавшись с сизоватым дымом,
О чем-то говорили — долго-долго.

У нас у всех в запасе были крылья.
Мы знали, что, когда земля под нами
Развернется, мы крыльями взмахнем —
И полетим. Поэтому без страха
За жизнь свою мы жили в тех оковах
Из камня, света, снега и зимы.

* * *

Дай погадаю по листу,
По линиям его прочту,
Увижу в линиях его
Былого грай и торжество,
Тьму будущих полотен.
За сетью линий — сень Древес.
За деревом — стоящий лес,
Розовоног и плотен.
А в том лесу, а в том бору —
Сырую, рыжую кору
И преющую хвою.
Клянусь, что все я разберу
И ничего не скрою!

* * *

А тему смерти я гоню.
Но лезвие ее стальное
Проходит даже сквозь броню
В существование земное.

Елена САРАН родилась в 1963 году в г. Уральске. С 1982 года живет в Лиепае. После окончания средней школы училась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, работала техником на железной дороге, инженером по метрологии, корреспондентом в газете. С 1980 года стихи Е. Саран публикуются в областной и республиканской печати, в 1986—1987 гг. — в журналах «Крестьянка», «Даугава», «Роднин», «Нева». За литературные дебюты получила премии Союза писателей Латвии, журнала «Крестьянка». С 1985 года Е. Саран — член Республиканского объединения молодых литераторов при Союзе писателей Латвии; в 1986 году ее стихи обсуждались на XVIII конференции молодых литераторов Северо-Запада и были рекомендованы для издания. В 1987 году Е. Саран сдала рукопись своего первого сборника стихов в издательство «Лиесма».

Сквозь плотный камень мостовой.
Сквозь створки раковины сильной,
Еще таинственно живой
И оттого почти двуужильной.

Я убираю этот нож,
О край дрожащий рана руку.
А говорить, что смерть есть ложь...
Зачем опровергать науку?

* * *

Дети устроят уют
В доме, в землянке, в теплушке.
Дети сидят и жуют
Пряники, бублики, сушки.

Дети грызут сухари,
Талой водой запивают.
Газовые фонари
В воздухе мокром кивают.

Это откуда, скажи?
Это кино или книжка?
Это — мои миражи.
Будущего одышка.

* * *

Я отвечаю только за себя.
Я не могу ответить за другого.
Отглаженный передник теребя,
Я промолчу и не скажу ни слова.

Я знаю неполученный ответ.
Я именно сегодня постаралась.
Но я скажу: «Не выучила, нет», —
К самой себе испытывая жалость.

* * *

Умерший думает: а вдруг
Я оживу и мне сгодится
Все, что я слышу — каждый звук,
Все, что я вижу — ваши лица.

Он думает: не просто так
Дается этот странный опыт —
Свисающий корнями знак,
В глаза посыпавшийся топот
И невозможность рассмотреть
Звезды хоть самой заваливающей.
А говорили, будто смерть —
Начало жизни предстоящей...

* * *

Откуда-то взгляд подозрительный
На мир, на присутствие в нем
Всего, что не я. Что разительно
Со мной различается. Дом,

Такой неподвижный, и каменный,
И выросший не по годам.
И вырвавшееся дыхание,
И лед, прикипевший к следам.
И это ветвистое дерево,
Которое смело, могло,
При ветре, как правило, с севера,
На юг приналечь тяжело.

* * *

Все дорого.
Какой-то нищий город,
Покрытый пылью — даже не веков,
А просто пылью — молотым песком.
Он не оазисом — солончаком
Стоит в степи, как будто в горле ком.

И все в нем странно, все в нем несуразно.
Кругом асфальт, но почему-то грязно.
И там, где ходит по машине в год,
Построен пешеходный переход.

Там есть река. На той реке есть заводь,
В которой я не научилась плавать,
Есть дерево по кличке «карагач».
И до сих пор под ним я слышу плач.

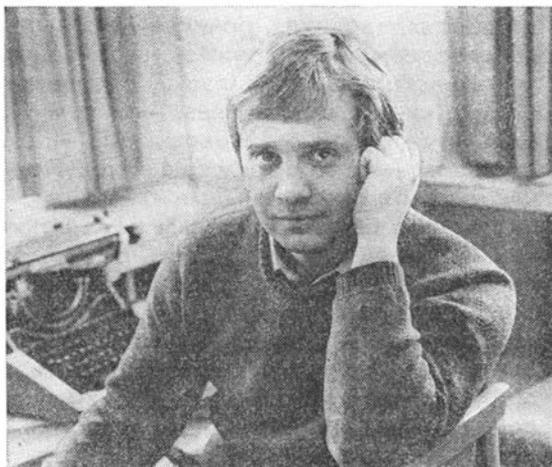
На кладбище, куда я не ходила,
Есть бабушки недавняя могила —
Единственная на моем счету...
Потом я их так просто не сочту.

* * *

Окно не обещало ничего.
Оно чернело бархатной бумагой.
Но я к нему приблизила чело,
Вонзила очи двуязыкой шпагой —

И поддалась мне эта темнота.
Я высмотрела, выжгла, проявила
Два дерева и полтора куста.
Мне этого надолго бы хватило

Рассматривать. Но поезд вздрогнул так,
Как будто он уснул или проснулся.
И снова двинул в непроглядный мрак.
Опять в чернила ночи окунулся.



Рассказы

Андрей ЛЕВКИН (род. в 1954 г.) — живет в Риге. После окончания Московского университета имени М. В. Ломоносова (механико-математический факультет) работал в Институте электроники и вычислительной техники АН Латвийской ССР, в настоящее время сотрудник журнала «Родник». Впервые его рассказы были опубликованы в сборнике фантастики «Хрустальная медуза» (1985). В 1986 году вышла книга прозы «Старинная арифметика». Своеобразное творчество Левкина сразу же привлекло внимание критики, о чем говорят статьи в журналах «Литературное обозрение» (1987, № 9) и «Даугава» (1987, № 11).

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Двустворчатые ворота безвольно полуоткрыты — их не забыли запереть, в этом положении они пребывают давно. За воротами неглубокий двор. Забор снаружи зеленый, никакой, серый — изнутри. Во дворе несколько лип, ближе к забору — две лавочки. Липы до пояса крашены известью, известь с них почти смылась. В тон липам, белой краской, тоже полустершейся, оформлены бордюры, выделяющие газончики.

Прохожий на минуту остановился возле ворот, заглянул в глубину двора и увидел лавочки. Подумав, оглядевшись по сторонам, он двинулся вперед — он, похоже, никого не огорчит, если перекурит на лавочке.

Из полуподвальных окон тянуло кухонным запахом, оттуда доносился грохот кастрюль и передвигаемых стульев. В углу двора стоял газик, на его брезентовый верх с крыши падали капли. Здание было выкрашено в желтый цвет, оконные проемы обложены красным кирпичом; в окне второго этажа говорило радио.

Минут через пять в дверях появился крупный, оплывший человек, облаченный не то в штормовку, не то в ватник, нижнюю половину его одежды составляли несвежие, холмящиеся брюки. Он постоял

в дверях, зевнул, почесал в затылке. Затем, оглядевшись по сторонам и обнаружив находившегося на территории человека, несколько оживился и, сделав пару шагов в его сторону, сказал: «Иди сюда, парень, — к чему присовокупил приглашающий жест рукой. — Новенький? — спросил он, когда человек подошел. — Это хорошо, заходи. Подождешь в дежурке, сейчас мы тебя определим».

Дежурка была крохотным помещением, выкрашенным салатной масляной краской. Здесь стоял могучий, нынешним не чета, письменный стол, пара-тройка фанерных стульев, стул с виду более прочный нес службу при письменном столе; диван в углу помещения. На стене висели табель-календарь, список внутренних телефонов и портрет. Помещение освещалось лампой дневного света, одна из трубок которой ежесекундно моргала; лампа жужжала. Хозяин помещения позвонил по телефону, долго не отвечали, наконец кто-то откликнулся, и в трубку было сказано, чтобы пришли из шестого отделения.

— Погода... — сказал задумчиво человек в ватнике, — ох, погода, погода, в кого же ты такая уродилась...

Чуть погодя, громко спустившись по лестнице и пинком отворив дверь, вошел человек в коричневом, почему-то больничного образца халате; на нем были резиновые сапоги и синий, на коленях запачканный комбинезон. В руках он держал кастрюлю.

— Проводи человека, — сказал ему хозяин дежурки.

— Хорошо, — ответил тот, оглядывая незнакомца, — я оставлю здесь кастрюлю, мне еще животных кормить.

— Ладно, — согласился сидевший за письменным столом, — быстро все покажешь и иди кормить. И он тоже, — кивнул на новенького, — на обед может еще успеть. Давай не зевай.

— Это все ваши вещи? — спросил человек в халате. — Тем лучше, а то у меня ключей от каптерки нет с собой. Пойдемте, я покажу ваше место.

Направились вверх по лестнице. Стены ее были крашены той же, что и дежурка, краской, пахло здесь табачным дымом и резиной. Указывающий дорогу мурлыкал под нос песенку, прервавшись (они поравнялись с лестничной площадкой) показал: «В столовую вот сюда. Прямо, потом направо и вниз по ступенькам. Там скажешь, что из шестого, только что прибыл. Если возбужнут, пусть звонят дежурному, да не должны бы, народ правильный».

Они поднялись еще на один этаж, завернули в полутемный коридор, миновали несколько дверей, одна из них была полукрота — душевая, там мылись. Пройдя мимо трех комнат, сопровождающий толкнул плечом дверь по правую руку.

Комната оказалась просторной и светлой, в ней могли поместиться кровати восемь, стояли, однако, лишь четыре, и то три из них пустовали. На четвертой, прямо в одежде, развалился полный, рыхлый человек. Он лежал на спине, прихрапывал.

вал, очки, остававшиеся на носу, колыхались в такт дыханию и, видимо, щекотали переносицу, поскольку он то и дело отмахивался рукой от несуществующей мухи.

— Занимай любую, — сказал человек в халате. — Пока все свободны... Ладно, — добавил он, глядя как его подопечный, подойдя к кровати, стоящей возле окна, проверяет пружинную сетку, — белье принесу вечером. — Он повернулся и вышел, на полдороге обернувшись в дверях: — Не тяни резину, иди обедай.

Столовая действительно располагалась в полуподвале. Здесь было тепло, стоял десяток-другой столов на четверых. Столы покрывал голубой, местами отставший пластик. Было почти пусто, лишь за столом в дальнем углу сидели три человека, они вскользь оглядели пришедшего и вновь склонились над тарелками. На раздаче, против ожиданий, обед дали без разговоров, только раздатчик обернулся куда-то в глубину и крикнул: «Эй, слыхали, в шестом еще один». «В каком?» — спросили из глубины. «В шестом» — повторил тот.

Кормили прилично, несколько жирно, но подавался и чай, не халтурный, крутой, темный. Постоянные обитатели, похоже, заелись — относя посуду на мойку, новоприбывший увидел тарелки с едва тронутым вторым; оставляли недоеденным и десерт.

Поднявшись к себе, обнаружил соседа по-прежнему лежащим на кровати. Тот, видимо, отчасти выспался и на звук открываемой двери приподнял веки. Новый постоялец представился ему, на что старожил сказал: «Ага, — и, забыв представиться в ответ, добавил: — будем знакомы». И снова заснул.

Из окна были видны деревья, низкие сарайчики, в которых кто-то хрюкал и сладостно терся спиной о дощатые стены. Окно выходило в противоположную двору сторону, здесь доминировала громада водонапорной башни. Вид был приличен, койка не скрипела, и вскоре, не дожидаясь вечера, принесли и белье. Новичок застелил кровать, сходил в душ и лег отдыхать до ужина. Ужин прошел тем же порядком, что и обед, после него оставалось только умыться перед сном, и вскоре в здании наступила тишина.

Три дня до ближайшей субботы прошли по одинаковому сценарию. Около восьми начинали хлопать двери, возникало шарканье ног, кто-то успевал до завтрака принять душ, внизу включали радио, по которому как раз шел бодрый утренний концерт. К девяти все собирались в столовой за традиционным творогом, кашами и кофе с молоком. Затем — по погоде — шли либо в курилку, расположенную на первом этаже, рядом с телевизионной комнатой, либо выползали во двор и лениво переговаривались, выкуривая свои первые сигареты. Далее шло время до обеда, после — до ужина, затем — по желанию — либо смотрели телевизор, либо сидели по комнатам и занимались своими делами.

Сосед был флегматичен, малоразговорчив, беседы с ним сводились к темам бытовым: открыть окно, закрыть окно, пошли на обед, одолжи сигарету, выключи свет — выключал обычно сосед, который к вечеру просыпался и принимался за бескрайний (буквально — в затрепанной книжище недоставало страниц в начале и в конце) роман.

В субботу распорядок был нарушен. На ужине, который начался на полтора часа раньше обычного, вместе с ежедневной пачкой сигарет (некурящим полагался шоколад) выдана была бутылка водки на двоих. Столовка непривычно загудела, не сходя с мест закурили — по субботам здесь допускалось и курение. Через время, достаточное для того, чтобы опустошить бутылки, один из сидящих сказал, встав: «Пора, мужики! За дело!» Народ оживился, что показалось странным, и ретиво приступил к уборке со столов. Столь странное оживление — ведь, казалось бы, вечер на этом заканчивался — стало понятным, когда столы начали сдвигать в сторону, явно освобождая пространство для танцев, и точно — несколько человек уже волокли в подвал аппаратуру.

Часть народа высыпала во двор: перекурить, вздохнуть свежим воздухом, другие — меньшинство — отправились на боковую. Вскоре во двор въехали два автобуса, из которых стали выходить женщины — хоть и несколько подержанные, но вполне еще годные к употреблению. Начались танцы. Помимо того, что это были и танцы как танцы, они являлись и естественным поводом к тому, чтобы столкнуться с партнершей, — то и дело парочки, а то и несколько сразу, покидали помещение, возвращаясь обратно танцев через шесть, семь. Долгих же переговоров тут не требовалось, достаточным оказалось сказать лишь слово, и партнерша уже шла к двери; так же и наверху — без лишнего энтузиазма, деловито орудовала своим телом на узкой кровати, за тем сюда и ехала. Она была брюнеткой, средней полноты — такая подвернулась, когда он захотел проверить догадку.

Вернувшись обратно, застали уже конец бала. Еще танца три, и в зале появилась женщина средних лет, слегка навеселе, — видимо, сидела в дежурке; женщина скомандовала: «Девочки, собираться!» Девочки лениво, нехотя отлепились от кавалеров и одна за другой шли к автобусу. Некоторое время они ждали остальных, остававшихся в здании, покричали им — скорее для порядка, и автобусы отчалили, — кто хотел, похоже, мог остаться и на ночь. На этом вечер закончился. Помещение убирали утром, перед завтраком, который по этому поводу сдвинулся на десять.

Воскресенье прошло копией субботы, единственно за ужином давали уже не водку, а по паре пива на брата; женщины были опять, но, кажется, уже другие, — частично другие, во всяком случае.

На другой неделе в комнате появился еще один постоялец — вертлявый брюнет одесского происхождения. Он принес с собой суету, говорню ни о чем, анекдоты, кассетный магнитофон с записями итальянцев и рассказы о своей благословенной родине (с той поры так и запомнилось, похоже навечно, что в конце августа на Привозе помидоры самые лучшие по 60 коп., в магазинах же — по 15, сливы на том же Привозе тоже по 60, арбузы по 30, а поторгуешься, так и дешевле). Бывал в комнате он редко, больше обретался у многочисленных новообретенных приятелей. Жизнь с его появлением изменилась не слишком.

Нельзя было узнать, что будет дальше. Эта тема была за пределами разговоров. Дни шли за днями — ничего не менялось. От подъема до отбоя, от воскресенья до воскресенья — менялись лишь приезжающие женщины, да в столовой с изменением сезона стали появляться салаты. Сосед — когда ему был задан наводящий, косвенный вопрос — посмотрел недоуменно, решительно не понимая, о чем речь.

Постепенно становилось понятным, что надо выбираться. Но как и когда? Единственно благоприятным временем были послеобеденные часы — тогда большинство обитателей здания дремало в комнатах. (Не затемно — на ночь двери запирались, да и дежурный не покидал поста; не в субботу-воскресенье, пользуясь суетой вокруг девочек, — надо и сумку взять и одеться по-уличному, а всюду толпился прощающийся народ. Еще, странным образом, возникала мысль о постельном белье — ведь и его сдать надо бы?)

Со временем, так или иначе, ясно. Оставалось найти способ. В здании были две лестницы: одна парадная, главная, она шла мимо дежурки; другая — на противоположном конце здания. Та, опустившись вниз, вела в пищеблок — в одну сторону, в другую же открывалась в задний дворик, где стояли гаражи и сараи. Этот двор глухой, ворота его всегда замкнуты, открывались лишь в редкие моменты въезда или выезда машины, пришлось бы лезть через забор. Ход требовал изучения и, как оказалось, в выбранное время там всегда толпится народ — либо курят кухонные работники, либо — если не было и тех — околачивается шоферня. Угадать, когда там не будет никого, было практически невозможно.

Он решил идти мимо дежурки. Выбрал дождливый день — в надежде, что шум дождя заглушит его шаги, либо усыпит сидящего в дежурке. Свою сумку он перед обедом кинул на кровать рядом с дверями — словно бы, торопясь в столовку, что-то искал. Вернувшись с обеда, он дождался, пока сосед уснет, а тот, конечно же, засыпал с трудом, его мучала изжога; другой сосед, к счастью, отсутствовал — ушел продолжать преферанс; сосед наконец уснул. Беглец для страховки походил взад-вперед по комнате, потирая руки и жалуясь, что мерзнет, —

отклика не было, сосед заснул прочно. Пора было действовать. Как бы для тепла он накинул на себя куртку, руки в рукава не вставляя. Походил так некоторое время. Пора было действовать, со времени обеда прошло уже полчаса.

Осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, он полуотворил ее и выглянул — коридор пуст. Крадучись, выскользнул за дверь и, уже находясь в коридоре, потянул сумку за ремень. Осторожно прикрыл дверь и, пряча сумку за спиной, мелкими, резиновыми шажками направился к лестнице. По дороге никто не встретился.

Столь же старательно и тягуче он начал спускаться вниз; миновал пролет, еще один, до низу оставался этаж, затем пролет, затем пять метров до входной двери — пять шагов мимо дверей дежурки. Там было тихо, он почти миновал ее, когда внезапно отворилась дверь справа — он и понятия не имел, что она может открываться: там был нужник и из него, застегивая на ходу ремень, выходил дежурный.

— А, — сказал он, — уходишь. Ну что, — продолжал он, не обращая внимания на оцепеневшее лицо беглеца, — будь здоров, парень. — Пожав на прощание руку, он скрылся в дежурке.

Человек неминуемо вышел во двор. Моросил дождь, ворота стояли как обычно лениво распахнутые. Сделал двадцать шагов до них, вышел на улицу. Оглянулся. Никто его не преследовал, никто не смотрел вслед.

НОСТАЛЬГИЯ

Поезд въехал в вокзал, как плоскодонка входит в затон: медленно, полупешотом, осторожно разделяя на две части ленивое пространство перед собой; проводя прогорклую дорожку в желто-сером городском рассвете. Медленно выходили пассажиры, следовали со своим багажом степенно, не торопясь — было еще очень рано. В Обводном канале лежала смутная, схожая с машинной смазкой вода, от этого город приобретал облик тяжелого, отсоединенного от двигателя механизма из камня и чугуна.

Приезжий, не выбрав еще, что ему делать, пошел по Измайловскому проспекту: не спеша, с удивлением, недосыпом усиленным, разглядывая непривычные виды по обеим сторонам пути, — его привозили сюда в детстве, и виденное тогда сохранилось в памяти на правах сна; он шел, изумляясь плотной реальности, как удивлялся бы, очутившись во сне наяву.

В глаза бросались непривычные форматы табличек с номерами домов и названиями поперечных улиц, вывески над магазинами и мастерскими, этикетки сигарет в закрытых пока ларь-

ках; удивляло и то, что прохожие ходили по городу как по городу обычному — ничуть не ощущая ни его, ни своей в нем ирреальности.

Вскоре прохожий устал от впечатлений и от ходьбы натошак. Набредя на заведение, где кормят, он вошел и, обнаружив себя единственным посетителем, замер у входа; наконец решился, подошел к раздаче и, все еще удивляясь тому, что это не мираж, что сам он — не призрак, а его деньги имеют здесь хождение, выбрал еду и сел у окна. На улице между тем прибывало народу, становилось больше машин, открылись двери магазина напротив, — теперь город вызывал уже не механические, растительные ассоциации, — что-то вовремя оживающее, идущее в рост...

Надо было двигаться дальше. Хотя перед приездом и лежал целый день, но сумка с немудреными гостинцами была достаточно увесистой. Осмелев (это первый неформальный контакт, первые слова, которые он скажет тут, в этом городе), он подошел к кассирше и, достав записную книжку, расспросил дорогу по нужному адресу — приятеля, с которым обычно общался у себя и пару раз вместе ездили на юг, — а к нему ехал впервые. Действительно, существовала улица, указанная в адресе, да, к ней можно было добраться и так, как советовал приятель. Написанное и рассказанное совместились с реальностью, все было верно.

Приятель жил на Петроградской стороне. Поездке на метро приезжий предпочел троллейбус с пересадкой на трамвай. Он ехал по городу в медленном, дребезжащем трамвае подобно взгляду, скользящему по книге, и ведь в самом деле: они все жили здесь, все они жили именно здесь — но первое, лишь теперь сформулированное ощущение уже высыхало, впитывалось в него, как попавшая на газету капля воды: он уже здешний, уже низ штанов обрызган местной грязью, в волосах — здешняя копоть, в легких — тутошние воздух и сажа.

Хозяйка обрадовалась ему и, расцеловав, повела в комнаты знакомиться с людьми, которых, несмотря на еще раннее утро, там было трое; себе на удивление, он легко разговорился. К полудню прикончили оба алкогольных гостинца, содержимое которых разливали во что подвернулось — здесь, похоже, жили безалаберно. И только часа в два он узнал, что сам приятель — в отъезде, будет через несколько дней. Приезжего это не обескуражило, и он раскованно болтал, не путая их имен, с присутствующими.

А сама квартира была странная. Состояла она из двух комнат, одна из которых, возле входных дверей, была крохотной, другая же, угловая, — громадной, в четыре окна: широкое, выпуклое окно в угловом эркере, еще окно выходило на шумную — по ней ходили трамваи — улицу, остальные глядели в тесный, затянутый тишиной переулок. Часть комнаты была символически отделена хлипкой, чуть ли не картонной загородкой,

до потолка не достававшей, — за загородкой находились газовая плитка и раковина, такая в квартире была кухня.

Освоившись так в городе, остальную часть дня гость провел, как склонна проводить свой первый день в северной столице известная часть приезжих: ходил по улицам, забрел на выставку, обследовал книжные, выпил чашку двойного кофе в «Сайгоне», где, нимало тому не удивясь, встретил одного из новых знакомых. Вместе вернулись домой.

Там уже собрался небольшой таборок — человек десять, которые, рассредоточившись по квартире, неспешно проводили вечер. Уставший и проголодавшийся, приезжий съел что-то кем-то приготовленное и прилег на диван, чтобы отдохнули ноги, и уснул часов на пять. Когда он проснулся, было уже давно за полночь, но в комнате по-прежнему горел свет и еще оставалось человек пять-шесть: двое играли в шахматы, какая-то женщина сидя в кресле дремала, уронив на колени книжку, незнакомый парнишка спал за портьерой, на матрасе, пристроенном в эркере. Еще двое, похоже, заваривали чай за загородкой, негромко переговариваясь.

Он встал, пошел за загородку, ополоснул над раковиной лицо, перезнакомился с чаевничающими, часа два они проболтали, потом втроем пошли провожать женщину, к тому времени проснувшуюся. Проводили ее до дому, вдоль реки пошли обратно. В принципе, собиралось светать. Некоторое время они постояли возле рыбака, покурили с ним — тот за это время выдернул из реки ерша — и вернулись домой. Хозяйку застали возле зеркала, она второпях красилась, сегодня ей надо было на службу. С приезжим она общалась как со всеми остальными — а и чем он от них отличался? Он лег спать, проспал до трех, опять были день, и вечер, и ночь, и день новый.

Дни гость проводил, гуляя по улицам, в прогулках бесцельных, не утомляющих. Легендарный город был пропитан дымом и туманом, запахами гнили и тухлой воды каналов. Город — эта черта его характера лишь усилилась — казался иллюзией, обманом, — как в террариуме, в стеклянных загородках для змей помещают чуть-чуть камней, песок, обломок засохшего саксаула, так и здесь: ограды, статуи, мрамор, река. Тянуло обратно, в простор не пустовавшей квартиры.

А в квартире так и жили: легко, обжито — народ не иссякал ни днем, ни ночью; хозяйка, когда слишком уставала, уходила спать в свою крошечную комнатенку — единственное, что было здесь привилегией хозяев, остальные же оставались в комнате, разговаривали, случалось — читали вслух или тренькали на гитаре. В свой черед вернулся хозяин, они обнялись и расцеловались с приятелем, и жизнь продолжилась, как и шла — их знакомство, дружба, да и в самом деле непритворная, оказалась одной, равноценной частичкой общего, вечного здесь разговора.

Позже, когда он уехал, долго не оставляла его эта жизнь

(как вернувшийся из экспедиции не может, сняв наконец рюкзак, к которому он месяц был прикручен, чувствовать себя естественно), он жил, ощущая, что жизнь в том городе, с ним там, продолжает идти своим чередом, пусть он живет в другом месте, совсем по-иному: та жизнь была рядом, дышала в затылок.

Неудобством поначалу был вечный недосып — больше четырех часов подряд спать не дадут: горел свет, вокруг, привычно лавируя между спящими, ходили люди, иногда, забывшись, начинали говорить в полный голос, их утихомиривали; вскоре он привык к этому и начал находить совершенно естественным и удобным, что среди ночи свет, всегда отыщешь с кем поговорить, съешь кем-то сваренную вермишель, покуришь, искренне не обращая внимания на уединившуюся в эркере парочку.

В конце второй недели он простудился и с высоченной температурой очутился в маленькой комнате, куда его без лишних слов перевели хозяева. Врач, вызванный к нему на имя приятеля, был, похоже, коротко знаком с квартирой, поскольку, привычно усмехаясь, приговаривал, что тот, кому придет в голову изучать амбулаторную карту хозяина, схватится за голову от разнообразия болезней, того постигающих.

В болезни, проснувшись ночью, он обнаружил на стуле возле себя пожилую женщину, которая держала руку на его лбу, делала она это привычно, так, словно занималась этим всю свою жизнь. Раньше — и потом — он ее не видел, узнать, кто она — так и не удалось; наутро ему стало заметно лучше.

Следующую ночь он, почти выздоровев, отоспавшись, провел бодрствуя. Было странно, отвыкнув, лежать в темноте, в одиночестве, глядеть — в желании и поисках огня — на единственное светлое пятно на обоях: косой свет уличного фонаря высекал из стены никелированную рамку офорта; он пытался вспомнить, что изображено, вспомнил: несколько силуэтов людей в высоких конических шляпах, колпаках (колпак ростом с человека, его носящего) совместно переносили громадную рыбу, по виду — сельдь или скумбрию. Картинка висела возле окна, на слабом сквозняке, и блик на рамке постоянно перемещался, гладко, легко перетекал по прямоугольнику.

Другой раз, уже вернувшись в общую комнату, проснувшись среди ночи, он обнаружил возле раскладушки (диван заняла семейная пара, образовавшаяся за время его отсутствия) человека в зеленом сюртуке, с оранжевым бантом на шее; с видимым интересом тот изучал лицо спящего, свои выводы излагая примостившемуся у его ног псу. Пес был спортивного вида, какой-то терьер, он с интересом, казалось, слушал говорящего.

Новый год — к тому времени он уже устроился на сторублевой, не много жизни отнимающей работе — отмечали здесь же, хотя и без елки, зато еще за две недели до условной ночи всяк волок в дом свечи — какие кому попались, всех калибров: декоративные, хозяйственные — до подвернувшихся огарков;

накопилось их столько, что не было подставок и часть клеили просто к подоконникам, к полкам, по верху кухонной загородки. Зажженные разом две сотни свечей накалили комнату, как нить электрической лампочки, и гости скидывали свои фраки, вицмундиры, пиджачки и арестантские халаты; гудение и шелест горящих свечей заглушали разговоры, копоть оседала на лепнине потолка, и в широкоформатном мерцающем пламени равно светились лица всех собравшихся — от камергера до топника.

Жизнь шла дальше. Здесь он работал, здесь его ругали и здесь же расхваливали; не обошла его и любовь — объяснение произошло вдали от людских глаз — в темном коридоре, между шкафом и вешалкой; они поселились в эркере, у них родились дети, дети выросли, работы кончились, жизнь состоялась.

По смерти его поминали здесь же, как всякого — не слишком печалась, — ведь продолжалась квартира, которая не пустовала.

БЕЗУМИЕ

Редкая птица долетит до середины Днепра

Филатовы уезжали в отпуск. Позади уже и выбор, куда отправиться (стояло нервное лето восемьдесят шестого года), и покупка билетов, а тут, в последний момент, удалось совместить отпуска жены и мужа, и опять — сдача билетов, покупка новых: не так уж просто выехать семье из четырех человек, двое из которых еще вполне не взрослые дети. За завтраком в день перед отъездом обстановка была по инерции нервозная, хотя все уже собрано, и холодильник планово опустошен, и квартира подготовлена к долгому безлюдью, чуть эвакуационно: вещи убраны, чисто, к цветам в горшках, составленных на полу в центре комнаты вокруг стола, протянуты ниточки несуразной увлажнительной системы. Все, короче, готово, чтобы заказать вечером такси на утро, завести для страховки оба будильника и — уходя утром — закрутить распределительные краны хол. и гор. воды, вывинтить на всякий пожарный пробки и запереть на максимально возможное, неиспользуемое обычно, число поворотов обеих ключей дверь за собой.

Чем занять день? Жена собиралась привести себя в порядок, старший из детей, девяти лет, Витька, уже ускользнул из дому и вошел в состав перемещавшегося по окрестностям разновозрастного вороха детей, сгруппировавшегося вокруг милицейского отрока из соседнего подъезда. Дочка, младшая, пяти лет,

сидела, пила, держа кружку обеими руками, свое какао и вдруг сказала, что хочет к зверям.

— А что? — удивилась жена, потому что очевидных препятствий детскому желанию не возникало, — я дома буду, покормлю Витьку, когда зайвится, а вы поезжайте. Что тут киснуть.

— А квартплата? — откликнулся муж. — Ты сходишь?

— Вот еще... Иди сходи заплати, возвратишься и поедете.

Квартплата вот откуда возникла. В ЖЭРе затеяли укреплять платежную дисциплину, или как там это у них называется, и месяца два назад вывесили на дверях подъезда листок, угрожающий за более чем месячную неуплату отключением света, воды и телефона. Успеха, видимо, угроза не имела, потому что накануне вечером — младшие уже спали, старшие ходили в неглиже — в дверь позвонили. Филатовы не то что испугались, но вздрогнули, открывать пошел обеспокоенный муж. Причиной звука оказалась дворничиха. В ее руках была трехкопеечная школьная тетрадка, разлинованная вдоль (по квартирам) и поперек (по месяцам). На перекрещивании квартиры и месяца птицами обозначался акт уплаты. Дворничиха была в темном служебном халате и, подкрепляя свои слова, тыкала, неуверенно держа ту в руках, шариковой ручкой в самодельный документ, растолковывая жильцу смысл мероприятия. Скучно освещенная на скучной лестничной площадке, дворничиха изрядно запугала квартирантов. Хорошо, у них был день в запасе. Извиняясь и божась, Филатов упросил не помечать квартиру чреватым отключением минусом, обещая, что заплатит завтра же.

После завтрака, без сумки, почти в домашнем виде, Филатов очутился за дверью, держа в руках расчетную книжку (бытовало такое скользкое название этого предмета, несуразное коммунальное слово «жировка» — некто в халате на бесформенное тело, или седые дамские кудряшки с папироской в углу рта на общей кухне в семь утра). Как ни странно, ветхая и растрепанная книжка накопила в себе изрядную кучу денег. В чем-то под стать книжке был и день: нечеткий, аморфный, душный, — Филатов взопрел, еще не дойдя до сберкассы.

Сберкасса располагалась на первом этаже кирпичной пятиэтажки, поперек дома, вдоль торцовой стены. Справа от входа шел длинный, от окна до окна, барьерчик со стеклом поверху и несколькими окошками, возле одного из которых выстроилась не менее чем на полчаса очередь из платящих за квартиру. Филатов был человек спокойный и дисциплинированный. К тому же часть своей юности он провел в доме бабушки и в его характер преждевременно проникла ритмика пожилой жизни с излишней, вредной для нестарого человека, скрупулезностью в исполнении малозначащих дел, с тщательностью — по мелеющим силам — распределения своего дня, где важны какой-нибудь запропастившийся бидончик, вовремя вытертая с буфета пыль; с почтением к часам принятия пищи, к очере-

дям, — так что очереди Филатов не боялся, очереди были формой жизни, и он спокойно пристроился в хвост.

Двигалась очередь плохо. Стояло в ней человек чуть более дюжины, преимущественно — пенсионеров. Покорно стоя, они терпеливо дожидались момента, когда смогут отдать свои деньги. Кассирша работала безобразно, постоянно отлучаясь то к телефону, то куда-то еще, потом принялась пересчитывать, щелкая счетами, деньги, заполняя какую-то графу какой-то серо-голубой бумажки.

В помещении пахло государством. Интерьер был обыкновенный сберкассовский: пыльные портьеры на окнах, почетные, застекленные грамоты на стене, неработающие часы рядом, зелень в горшках на подоконнике, таблицы лотерейных выигрышей на противоположной стене, стол с письменным допотопным прибором. Квартплатная кассирша, уязвленная, видимо, тем, что среди всего персонала работать приходилось только ей, встала и сказала, что вернется через десять минут. «Не нравится — не одна сберкасса в городе», — предупредила она возможное волнение очереди.

Очередь, не возразив, чуть — в огорчении — осела и как бы на четверть шага попятилась назад. Сберкасса-то в городе была, понятно, не одна, — соображал Филатов, — да только не рядом, а до центра надо ехать минут десять на троллейбусе (это был такой странный район города: не окраина, — когда-то он был окраиной, со своими разно-невысокими домиками, а потом его окружили новые микрорайоны, и он остался ни центром ни окраиной — тихий, спокойный). Да и в городе, — начал уже всерьез вычислять Филатов, — тоже как сказать, очереди и там, а о зоопарке он помнил. Это было важно, потому что дочка росла странно безучастной, не капризничала, ни от чего не отказывалась, не канючила ничего. Даже когда ее забавляли, это было мучительное занятие: она покорно следовала тому, что ей предлагали делать — куклу качать, мячиком об пол стучать, лицо же ее при этом не меняло, не теряло своего безучастного выражения, а спросишь: «Люся, тебе что, неинтересно?»

— Неее...

— Что не? Нравится или не нравится?

— Нрааавица... — безучастно откликнулась она.

И потому ее сегодняшний интерес к зверям необходимо было поддержать.

Впереди в очереди было человек семь, сзади вырос хвост приблизительно такой же длины. Люди покорно приняли выпавшее им скучание, облокотились кто на что, прислонились к стеночкам, некрасивые, утираясь платками в духоте. Никто друг с другом не заговаривал. Филатов, устав не столько от стояния, сколько от безнадежности паузы, вышел из очереди размять ноги и подошел к стене (очередь моментально, обрадовавшись, сомкнулась). На могучем столе, под стеклом распластались образцово заполненные примеры оформления различных оплат,

платежей, завещаний: не существующий, вероятно, в физическом теле, некто Тимофей Петрович Анкудинов, как бы проживающий в столице по адресу 1-я Шарикоподшипниковая, дом 56 кв. 124, завещал все свои сбережения жене, Анкудиновой Таисии Семеновне, проживавшей там же; Сидоров же, Петр Кузмич, правильно платил налог на автомашину ВАЗ-2107: все они пребывали в каком-то не сказать ментальном, но в государственно-абстрактном, красиво-правильном, бесплотном пространстве, где, тем не менее, водят транспортные средства и имеют жен.

Кассирша все не возвращалась, очередь не роптала, но начала посматривать в сторону соседнего окошка, где скучающая девица, понятно, окультуривала ногти. Та не обратила на это предволнение очереди никакого внимания — то есть не выказала слабости, и возможный скандал был пресечен в зародыше. Стоять, похоже, можно было очень долго. Филатов решился ехать в центр.

Было ему немногим за тридцать, по натуре своей он был человеком решительно несумасшедшим и любил вещи спокойные и уютные. Приглашенный билет на вход в сознательную жизнь еще хранился где-то: помятый, замызганный, с оторванным контролем или «погашенный путем надрыва», хранился чисто по инерции или как реликвия — место в зале он занял, все в жизни определилось. Кто билетик выдавал? Какими-то первыми из собственных осознаний жизни он, как ни странно, был обязан немногочисленным местным хипарям, которые развелись по окрестностям ко времени окончания Филатовым школы. К ним он не имел никакого отношения, ни с кем из них не общался, но — видел. Неохота сейчас, да и не к месту рассуждать, кем там они были и что все это означало, ноне некоторые, с ними связанные вещи очевидны (были тогда очевидны, теперь уже нет). Неприятие конформизма, например. Отношение к одежде хотя бы. Что там было искренне, что показуха — бог им судья, неважно. Относясь к ним так и эдак (теперь разве вспомнишь?), Филатов их видел, и это бесследно не прошло.

Что же все-таки то время привнесло? Не считая слабого импульса, намек на возможность какой-то общественной, коллективной человечности, который застало поколения рождения середины пятидесятых? Речь о результатах, о новых весомостях (наращение культуры, культура=свод весомостей, приблизительно). Прозаики, поэты? Высокое умение замечательно произносить «нет», «нет-нет», «нет-нет-нет», удлинняя цепочку, как «Гиссарскую дорогу», до бесконечности, бормоча ее бессознательно, как мантру? Не в результатах результат, но в намерении, не сила, но определение мест силы. Нет, это, разумеется, не филатовские сложности, тот лишь краем уха слышал о классиках-предтечах и воспитывался опосредованно, на битлах например. Смешно, теперь, через двадцать лет, их пластинки продаются в газетных киосках (вроде проводов с музыкой корабля: простились, корабль отошел, отрыв от пирса, ширится мутная вода, все

скрылось за горизонтом, вдруг — порыв ветра, что ли? И вот обрывок, лоскут: то ли музыки, то ли времени...) Пластинки Филатов, конечно, купил, послушал. Хорошо, только как-то... уточнить он не стал.

По ходу своего ничемного, казалось бы, получасового мероприятия Филатов терял начальное легкомыслие (так прибывший на сельхозработы, такой городской и чистенький, постепенно втягивается в физический труд, в пыль, приобретая способность спать в одежде где угодно). Филатов втягивался в общественное бытие. День, похоже, был расположен к тому, чтобы оказаться вмещенным в нечто большее, нежели прогулка. Духотища стояла жуткая, воздух набухал, уплотняясь как переходящее в простоквашу молоко.

Включившись в общение с социумом, Филатов с каждым шагом обнаруживал вокруг себя следы доминирования глупых — не злонамеренных, просто глупых людей, возобновляя в себе не столько удивление, сколько изумление и испуг перед густыми массами людей, требующих, очевидно, в иные моменты: ведь и я человек — чего ж ты, соотечественник, ухмыляешься? В этом они были безусловно правы, ведь с тех пор, как было решено, что всякий из нас существует как таковой, в сегодняшнем состоянии, а не как потенция человека, живая в усилиях самореализации, получилось, что он прав во всем, что не выходит за рамки общественных уложений. Следов присутствия глупых, важных людей было вдосталь, но, собственно, черт с ней, с обшивкой троллейбусного сиденья, зачем-то вспоротой ножом, — умных глаз не было видно, не было их в транспорте — какие угодно: сонные, мутные, в лучшем случае — глядящие внутрь, на какую-то заботу; умных — не было. Конечно, теперь лето и духота, но вряд ли умноглазые отъединились где-то в тени вдали от пологого, сержантского социума и наслаждаются зеленью сада или созерцанием тяжелого моря, стоя, сидя на веранде, обоняя при этом дымок из коптильни на дюнах.

Сберкасса, куда он ехал и приехал, работала, не функционировало лишь (работник в отпуске) окошко, где принимали квартплату. Приходилось ехать дальше, совсем уж в центр города. С горя он выпил стакан теплой газировки, стер с лица тут же выступившую испарину и вздохнул, как бы поправив ламки вещмешка.

В сущности, своей жизнью распорядился он не вполне сам: ее важности, то есть точки, в которых необходимо определиться, точки, где он подшивался ко времени, были установлены ему в основном литературой. Как если бы в квартире некоторые окна вместо стекла забраны нарисованным изображением: здесь не так просто, ведь очевидно и рисунок в раме является все же и видом из окна (как бутафорский шкаф все же шкаф и в этом качестве способен послужить вещам не тяжелым).

Что до его отношений с миром общественным, то они — увы, все та же литература — были сформированы чацкой каретой,

с убытием в городок с местом для оскорбленного чувства, с несколько малодушным похериванием чужого опыта, с чисто-плюйством по причине слабости и чрезмерной нежности к себе. Кажется, он просто боялся перемениться. Да, Чацкий в его представлении был несколько subtilen, утонченно-породист, чуть, должно быть, чахоточен — олицетворяя, вероятно, интеллигенцию в ее погибельном жребии (Шопен, а точнее — шопен, то есть расхожая, фиалкоподобная вареная кукла, псевдодворянской крови, лягушки в пруду — нечто смутное и малопонятное, кроме с детства привитого чувства брезгливости). Ему было и подумать страшно о силе, которая может обеспечить хотя бы возможность публичных выступлений, не говоря уже о том, чтобы ввязаться в большую игру, исхода у которой не бывает, позволить времени расти сквозь себя. Но и слабаком он не был, понимал по крайней мере, что его детей, кроме него, никто не воспитает.

Доехал еще раз, пробежал вперед — что за напасть?! Здесь оказалась не сберкасса, но почта (проезжал зимой — сквозь витрину видел барьерчик и служебных людей). Досадуя уже, что оставил первоначальную очередь, он пошел дальше, — ведь успел бы, управился бы уже, сколько бы она там ни шлялась... Попахивало легким безумием.

Выходило не по-людски. Дочка вряд ли забыла про зверей, да и жена злится — был свободный день и нате: дочка путается под ногами и еще старший поблизости. Неладно. Старший... в своем ненормальном девятилетнем возрасте сын не на шутку беспокоил Филатова. Все эти беганья по двору с автоматами, бесконечные игры в войну, и никак не удавалось его отучить целиться хотя бы в пришедших в гости родственников, ладно уж — в отца. И этот ущербный, пока списываемый на детство эгоцентризм, такой уже привычный, но все равно отвратительный... и что, парень вырастет и другим станет? Не очень в это верилось. А что он мог им предложить? Вместо игр в войну — сыну, и что — дочери, когда та наконец проснется и захочет чего-то хотеть?

... В сберкассе народу было столько, что хвост очереди внутри не поместился. Филатов крякнул, походил кругами, но покорно пристроился в конец, через спины стоящих и стеклянные двери пытаясь разглядеть, сколько там еще внутри. Человек эдак не менее тридцати, но, похоже, кассирша работала быстро.

Он уже проник внутрь помещения и вторично за день созерцал стенку с таблицами лотерей и почетными грамотами, когда мимо него протиснулся его бывший одноклассник. Энергичный и общительный, Габрилович переполошил всех женщин в дальних окошках — он хотел получить рубль выигрыша; громадное темное пятно расплылось по зеленой спине рубашки. Получив свой рубль, он пошел было к выходу, но по пути застрял возле таблицы лотереи, постоял там некоторое время, затем вернулся к кассе и купил, вероятно на выигрыш, новые билетки. На вы-

ходе, проникая сквозь коммунальную очередь, он уткнулся прямоком в Филатова. Последовали взрыв радости, невразумительные восклицания, похлопывание по плечу. Уяснив причину и обстоятельства пребывания в очереди однокашника, Габрилович сказал, что постоит за компанию (впереди было человек двенадцать). Воспоминаний им хватило минут на пять. Поговорили о новостях в государстве (человек девять до кассы), перешли к детям, и Габрилович принялся выяснять у Филатова, удалось ли тому пристроить сына в школу, которую окончили они (они учились в английской спецшколе: то есть, выходило, тому его жизнь нравилась, устраивала вполне). Филатову его жизнь не нравилась, сына в спецшколу он отдавать и не собирался, да и сам, за ненужностью, английский позабыл.

Возле кассы возник скандал: кассирша не смогла вынести того, что пришедшая платить налог за машину женщина не могла назвать марку своей машины. «Слушай, — сказал поникший в чужой очереди Габрилович, — тут скучно и грустно, еще час стоять будешь, пойдем со мной, я знаю кассу — пяти минут не пройдет — облегчишься». Попавшему под обаяние приятеля Филатову как-то вдруг и самому стало ужасно неохота здесь стоять. «Пошли», — согласился он.

Однако на улице, шагов через сто, Габрилович хлопнул себя по лбу: «Слушай, я все забыл, мне же через пять минут надо у вокзальных часов быть».

— Слушай, — продолжил он, — ты заходи в гости, прямо сегодня, у меня дома гусь, тушить будем. Нет, погоди, в шесть. Я... — Он что-то интенсивно вычислял. — ... в семь, ага, в восемь. надо заехать к... нет, — вывел он, — не сегодня, ко мне вечером родственники привалят. Приезжай завтра. Не волнуйся, гусь большой, что-нибудь да останется. Отпросись у жены и приходи. А впрочем, приезжай с ней.

— А дети? — автоматически возразил Филатов.

— Тогда у детей отпросись и приходи.

— Да я же завтра в отпуск уезжаю! — опомнился наконец Филатов.

— Ну вот, — огорчился Габрилович, — хочешь, как лучше, а выходит... Вот что, — оживился он, — приедешь и звони, придумаем чего-нибудь. Ну, я побежал. Привет супруге.

Оставшись на углу в несуразном одиночестве, Филатов еще некоторое время стоял с разинутым ртом. Наконец придя в себя, заторопился обратно в сберкассу. Но он не помнил, за кем стоял! Или эта бабка или этот пиджак? Или мужик с портфелем? Стоял седьмым или девятым, а ничего похожего. Или очередь прошла? Он просканировал очередь взглядом, наивно надеясь, что тот, перед кем он стоял, не выдержит и как-нибудь дернется, что ли... Но тщетно. Впрочем, он и не предупредил, что вернется, наоборот — громогласно говорил, что уходит. Ситуация дурацкая. Постояв недолго, он вышел на улицу.

Середина дня, а он в центре города. Воздух просыхал, нагрел-

вался, начинал пружинить асфальт под ногами. Филатова толкали пешеходы, и что обидно — ни слова не говоря, прямо как тумбу какую-то. Двери в сберкассу смахивали на вход в некий государственный Сезам, куда его, за грехи должно быть, не пускали: словно выход из метро, на поверхность выглядывал громоздкий, ветвящийся организм сбора денег, ломавший привычные представления о времени и пространстве, — ведь сейф сберкассы, очевидно, располагался в государственном центре тяжести денег: там где-то, в столице, и рубль, отданный ему здесь, был рублем и в центре и всюду, распространившись мгновенно, вспыхнув, увеличив энергию финансового поля.

Время, ликвидированное в масштабах государства, для Филатова, напротив, было явственно до осязаемости и походило на шланг. Вот Филатов здесь и теперь: в середине дня в центре города, а за квартиру не уплачено, а дальше — еще грустнее: он тут, а впереди три южные недели, зачем ему туда? Там жарко, а он жару переносит плохо, там скука, а жить неудобно: не вымоешься, спокойно не поешь, сортир и тот во дворе.

В конце очереди он вставать не решился — это было бы верхом идиотизма. В самом деле, — подумал он, — пойду-ка поищу, где поспокойнее. Тут, будто разошелся разопREVший мешок и в прореху хлынула кукурузная мука, возникло солнце. МоментаЛЬНО началось сущее пекло. Идти неизвестно куда расхотелось, между тем очередь таяла на глазах, уже полностью втянувшись в двери сберкассы. Филатов рыпнулся пристроиться в хвост, но был остановлен в дверях — сберкасса закрывалась на обед...

Он все еще стоял на все том же углу, стоял уже минут двадцать. Было шумно, воздух загажен выхлопными газами. Филатов направился пить лимонад под навесики полотняного кафе. Впервые за три часа присев, он размяк, ему вдруг стало себя жаль и за себя досадно: ну что за недотепа!.. И за квартиру, оказывается, заплатить не умеет (это обычно исполняла жена), а все равно, если уж честно, — ропщет еще втайне на какие-то неисполнившиеся ожидания. А в сущности, это ведь ужасно, что и думать не позволяешь себе, как хотел бы жить, если бы мог жить как хочешь. Филатов впал в тоску. И как это жена его до сих пор терпит? Поразмыслив, он пришел к выводу, что и той тоже деться куда-нибудь — некуда. Мысль не обрадовала, расстроила вконец. Нелепая жизнь.

Почти условный ветерок теребил тент над столиком. Есть ведь и другая — то ли сбоку, то ли выше — жизнь, где жизнь и работу не разделяют, художники шлют оттуда депеши: было хорошо, было плохо, видели то, сделали это; депешки, как изображение на слайде, проецируется на землю обыденную, покрывая ее полностью, внахлест. Хоть бы раз подышать этой человечностью, чреватой, конечно, потерями, но уютной в наличии хотя бы смысла в разглядывании всего вокруг — что им этот смысл обеспечивает? А то ведь и умрешь — что там дальше? Если и

выживем, так что: к каким-то новым обидам и виду из окна? Разнообразия, будто к другой женщине ушел. А будет все другое — так и мы там будем не мы. Ох, грустно...

Он смотрел по сторонам; среди пешеходов, очевидно, находились конкуренты в его сегодняшнем деле. Среди прохожих были, очевидно, и проводящие свой досуг в турпоездке Порфирий Ксенофонович Ампилогов с законной супругой Таисией, которой завещательно отписан растущий пока еще вклад в гострудсберкассе; гуляли здесь и заплативший пять рублей административного штрафа Сидоров и Тетерьян, умеющий иметь дело с аккредитивами. Филатов посмотрел на часы: обед кончался через четверть часа, пора идти занимать очередь, он бы и пошел, если бы, обернувшись вставая, не обнаружил за соседним столом Ларису.

— Привет, Лара, — сказал он в ее сторону. Та невыразительно посмотрела на Филатова (память о нем была смутной, тускло различимой, как лампочка в стог сена), припомнив и узнав его, она развернулась в сторону Филатова, пробормотав, что тот сильно изменился. Завязался неловкий, ненужный разговор, неуклюжий обмен сведениями из личной жизни. Лара была первой женщиной Филатова. Как это ни странно, но и он умудрился оказаться ее первым мужчиной, о чем, впрочем, она уже напрочь позабыла, приблизительно понимая, что нечто такое должно, в принципе, существовать. Что-то там, в прошлом, было смешное, какая-то у него была смешная привычка? Или не у него? Но и его тело давно забыло о ней, он помнил ее лишь рассудочно, спешно теперь стараясь восстановить в памяти, что она такое — что, конечно, было излишне.

Запинающийся разговор зацепился за бытовые передраги Филатова, получив с их помощью живое наполнение, и перешел из разряда убогой светскости к вполне практическому обмену опытом. «Так что ты хочешь, — сказала Лариса в ответ на сетования по поводу сегодняшних мытарств, — перед двадцатыми числами всегда безумие. Что ты тут платишь, в центре? Пойдем, нам по дороге, там рядом сберкасса — народу мало, а мне там рядом надо зайти».

Лара была невысока, стройна и медлительна; глаза у нее были желтые, медовые, она постоянно находилась словно бы в предлюбовной истоме; глаза блестели, влажные, словно вспотевшие от усталости смотреть куда-то вне себя. Соглашаясь с цветом глаз, на руке было кольцо с желтым камушком: подобно светофильтру, камушек окрашивал ее душевное зрение, обеспечивая восприятие лишь желаемых ощущений. А еще у нее, дома, было и колечко с камнем багряного цвета.

Совпав благодаря быту друг с другом, они шли, весьма приятно беседуя. Жара между тем становилась нестерпимой, от утренних туч не осталось и следа, и небо приняло цвет перекалившейся жести. Парочка направлялась в сторону от центра, улицы высыхали от пешеходов; плохо знавший этот район Фи-

латов шел, предвкушая, что сейчас повернут и перед его глазами окажется наконец искомая сберкасса, но вот поворот — и вместо сберкассы обнаружилась комиссионка, куда Лара и направлялась.

Ларе с утра пришло желание купить чашку. Желание, понятно, откладывать она не стала. Используя спутника в качестве эха, она чисто условно советовалась с ним о достоинствах очередной чашки, которых пересмотрела уже с полдюжины, покупкой, похоже, желая оформить окончание какого-то небольшого, но отчетливого периода своей жизни, заколдовать его в вещь.

Филатову надоело поддакивать, и он тихонько отошел в сторону. В комиссионке продавали вещи самые разнообразные, например — велосипеды различной подержанности. Филатов почувствовал возможность свободы перемещений, запах травы, запах воды возле пристани, гудрон автостреды и принялся думать, как оборудовать велик, чтобы брать с собой дочь, что и вернуло его в сегодня.

— Слушай, где же тут сберкасса?! — сказал он Ларе, выходя из магазина, но Лара была погружена в раздумья, поскольку упакованный вариант все же не казался безупречно единственным. Прослушав его слова, она сказала, чтобы Филатов проводил ее до остановки, ей пора на работу. По дороге Филатов вновь заикнулся про сберкассу. «Сберкасса, — машинально повторила она, — направо». Они повернули направо — впереди была остановка автобуса, Лара оглянулась: автобус подходил. Остановив Филатова, Лара заторопилась к остановке. «А сберкасса?!» — почти в отчаянии крикнул Филатов. Она, уже в дверях, неопределенно махнула рукой: «В ту сторону», — возможно донеслось до него на прощание.

Он пошел в ту сторону. Район был незнаком. Не то что сберкассы не было, ничего не было: ни магазинов, ни контор, лишь двух-трехэтажные домишки, неопрятные, ветшающие, да закрытый пункт приема стеклотары и палатка вторсырья. Моментами Филатову чудилось, что он во сне, от этой мысли он вздрагивал — нет, еще на земле (так, увидев перед собой в темноте сочный выпуклый глаз — почувствуешь себя в полусне, не сразу поняв, что ты просто пьешь воду, а глаз — твой же, на дне пустеющей кружки). Улицы были безлюдны, только кое-где в окнах виднелись старушечьи лица; где-то поодаль забавили свай на новостройке, еще дальше, в стороне железной дороги, пилили дрова, на самой железке — хриплый голос репродуктора изрекал нечто неразборчиво-служебное. Виды очередной улицы и редкие встречные всплывали в зрении пешехода (как по готовности пельмени в кастрюле) со дна жары. Пешеход, похоже, заплутал. Некоторые улицы, он их уже различал, были пройдены не однажды, другие — упорно к себе не допускали; превозмогая очередной, привычно заносащий ногу правый поворот, Филатов, только что не закусив губу, свернул влево и, неожиданно, вскоре очутился в местности знакомой — хотя и

из окна автобуса, время от времени отвозившего его к родителям жены. Длинный сквер с бетонной линейкой районной Доски почета, глядящие в упор серые, невыспавшиеся передовики.

Без сил он плюхнулся на скамейку под жидкой тенью, лицом к шеренге передовиков. От лавочки пахло перегретыми досками, дымком над яркой точкой зажигательного стеклышка; казалось возможным, что скамейка в состоянии продольно вспыхнуть и исчезнуть в дыму. Странно, но свою одиссею Филатов воспринимал уже как дело совершенно естественное. Так почему-то требовалось. Бытовые обиды оставили его, он боролся с чем-то невидимым, схожим с горизонтально направленной силой тяжести.

Жизнь вокруг была плотной, столь превосходя атомным весом человека, что Филатову почудилось, будто все частицы его тела потеряли сцепление друг с другом и лишь лежат по привычке одна на другой до первого ветерка. Жара загустевала, друг друга сдавливали дыхания цветов, трав и листьев; сцепляясь, сплетаясь, слипаясь, соединяясь в воздушный войлок, они не давали сидящему на лавочке свободно вздохнуть — был возможен замор, над улицей, на уровне крыш и крон, посиневшими ртами к небу всплывут соотечественники, современники...

Он уже не жалел ни о чем несбывшемся и не находил в себе новых желаний: в вязкой густоте окружающей жизни нельзя было уцепиться за что-то одно, не обжегшись при этом от убогости выбора: жизнь не могли выстроить ни отдельное дело, ни сколь угодно гениальная фраза, идея — любой выбор был упущением и — потому — неинтересен.

Он вспомнил, понял, что это невидимое, плотное облако висело над ним всегда — пугая, не оставляя в покое, но вот облако опустилось, объяло его и оказалось — нестрашно, даже если он растворится в нем без остатка. Жизнь стала хороша. Ничто уже не могло уничтожить его без остатка. Он стал неуничтожим и вечен, желая в этой жизни лишь заплатить за квартиру.

Желание это, как ни странно, могло исполниться: к лавочке с расчетной книжкой в руках подходила старуха; проследив возможную траекторию ее пути, Филатов увидел за перекрестком блестящую сквозь листву зеленую вывеску сберкассы. С трудом пошевелив языком, он осведомился у старухи, много ли в кассе народа. «А никого нет, — отвечала та, — пусто совсем».

Но встать он забыл, вдруг почувствовав страх. Не все еще оказалось понятным, не так просто вокруг. Было это плотное, сладкое облако, но рядом, противодействуя ему, сталкивая его с человека, висело и облако черное, той же плотности, но более грубого состава (словно щебенка против песка): не дай им бог войти в согласие — они ж распилят человека, как бревно.

Первое облако было знакомым и добрым, родным: человек, казалось, составляет с ним единый организм с общими чувст-

вами, органами дыхания и кровеносной системой, и не было сил у человека — он брал их у облака, восстанавливая силы — возвращал их с избытком в общий котел. Коллективная сила этого организма создавала, одушевляя, все окружающее, и не будь темного противодействия, был бы, пожалуй, выстроен навсегда идеальный город, рай на земле, мир, где все умны и не жестоки, даже дети.

Темное облако было безличным и, не имея отношения ни к кому в отдельности, старалось подмять каждого. Никакого согласия между противодействующими сторонами не могло существовать, и было приятно чувствовать эту черную силу, зная, что выдержит ее, не поддастся, но тут, в агонии, чернота пошла на приступ. Темный ангел гнул человеку шею, мям голову, загибал ее на спину, словно зубной протезист, натискивающий мост на верхнюю челюсть; выворачивал мозг, желая сломать мозжечок, как ногу. Человеку было уже не до рая — остаться б в уме, стряхнуть бы с себя эти руки; он перехватил эти руки у горла, заломил, поднырнув под противника, одну из них в локте, тот укусил за запястье — он вскрикнул, отскочил в сторону, на дорожку: возле скамейки стоял не то человек, не то бес в серой, шинельного сукна хламиде.

Тяжело дыша, Филатов зализывал рану. Ангел же, решительно не запыхавшийся, расправил плечи, скрестил руки на груди и сказал:

— Помнишь историю Иакова? — и замолк, ожидая ответа. Филатов молчал.

— Иаков, — продолжал ангел, — всю ночь боролся с чем-то, лишь под утро узрев в сопернике бога. Он его не победил, но победил. Не победил он потому, что победить бога нельзя. Но победил — отделив себя, поняв, где он, а где — другое. Понимаешь?

— Ну-ну, — сказал Филатов, сплюнув продолжавшую сочиться кровь.

— Что такое свобода? — дидактически возвысил голос ангел. — Это осознанная необходимость. Только что такое необходимость? Это ведь не желание того или иного, осознанное в рамках своих возможностей. Так мы получим своеволие. Необходимость — то, чего ты не можешь обойти. По рождению, по времени, в которое погружен, по судьбе. Ты осознал свои необходимости — ты свободен. Понимаешь?

— Фу-ты ну-ты, — сказал Филатов, — как торжественно. А кусаться зачем? — И, повернувшись, зашагал прочь.

— А тебе иначе втолкуешь?! — крикнул вслед ангел.

— Ты что, с ума сошел! — встретила его дома жена. — Я же и думать не знаю что, куда пропал, позвонить не мог? Что стряслось?

— Тут ведь как, — сказал Филатов, не собираясь оправдываться, — возьмем, к примеру, Гоголя. Почему редкая птица

долетит до середины Днепра? Потому, очевидно, что этот полет от птицы не зависит, такой полет от нее не зависит: птичка знать не знает про этот Днепр, а знает о нем некто не птица, который сидит на круче и швыряется через реку гусями.

— Хорош гусь, — умиrotворенно вздохнув, сказала жена. — За квартиру хоть заплатил?

— За три месяца. — Филатов вручил ей книжку.

— Ну как есть спятил. За три-то зачем?

— Ничуть, — отвечал Филатов, — после отпуска денег ни шиша не будет.

СВАЛКА

Н. Гуданцу

Конечно, А. знал, что в городе есть свалка. Понятно, что в крупном городе есть то и это, и свалка и роддом, товарная станция, вытрезвитель, мясокомбинат, каталажки, морг; А. все это прекрасно понимал, он даже знал, что неподалеку от города, километрах в тридцати, на боковой ветке существует кладбище не кладбище, тот самый запасный путь, на котором скачут блестящие от смазки паровозы. Но это все — где-то, а если конкретно, то он и в вытрезвитель не попадал и где, например, молокозавод — не имел понятия, а там, возможно, пахнет сытной сыростью во влажных цехах: как млекопитающее, он бы ощутил своей лимфой или позвоночным столбом темный, парной зов и чувство родовой сопричастности утешило бы его среди жаркого лета. Так вот, «вообще» он знал, что существует и свалка.

Свалка, объяснили ему во время случайной встречи в гостях, — штука замечательная. Во-первых: с точки зрения познавательной (надо же когда-то увидеть, см. первый абзац), во-вторых: с точки зрения бытовой. На свалке можно отыскать много чего полезного для дома, для хобби, для мелкой частной выгоды. В-третьих: как способ проведения свободного дня, борясь со скукой и разнообразия сенсорный рацион.

Как развлечение, почти приключение это было находкой (повествовавший о свалке Б. во время своей речи вальяжно полуразвалился в кресле, выпятил — а ля путешественник из телепередачи — грудь, говорить стал медленнее, с расстановкой, поглаживая бороду). Несколько, вероятно, привирая, Б. сообщил, что предприятие не из простых и без сталкера туда не попасть вовсе: свалка занимала пространство километра два на три, дорога к ней вела единственная — предназначенная для мусоровозов, и перед въездом на территорию свалки — КПП, где штатских шугали. Ограды вокруг, понятно, не было, то есть отсутствовал забор с колючей проволокой, но по периметру свалка

оборудована канавой, через которую перебраться невозможно, потому что канава широкая, да и течет там не вода, а какая-то смрадь. Но ров — подал надежду Б. — окружает свалку не полностью, там, где его нет, — болото, по которому частные лица и проникают на свалку. Болото же — дело серьезное, здесь сталкер и требовался, но и при сталкере — сапоги и длинная палка, иначе запросто завязнешь в трясине, ну и не утопишь, конечно, но день загубишь. Идти туда, кстати, следовало с утра, потому что привозимое мусоровозами добро уминали бульдозеры.

Б. был склонен к гиперболизации, не говоря уже о том, что степень сложности предприятия следовало поделить на какой-нибудь коэффициентик, поскольку, будучи графиком (он сообщил тут же, что нашел там несколько тем для офортвов), Б. понимал, что качество работы прямо пропорционально мучениям по ходу дела: хочешь не хочешь, а кусок своей жизни всегда отдаешь, слукавив немного; поэтому он мог убедить себя в том, что — в тяготах вылазки — начальная трата жизни уже состоялась и, таким образом, внешних припятствий к работе более не имеется.

На свалку добираются электричкой. Шестая остановка от города. Выйдя на платформу, по рассказам, следовало идти влево, мимо домика станционного смотрителя, затем через узкую полосу луга в сторону шоссе. Шоссе здесь как раз разветвлялось, и в сторону, в лес входила широкая, почти стратегическая дорога — направляясь, очевидно, к свалке. Впереди виднелся уже КПП, вид у которого был и в самом деле вполне армейским. Тяжело покачиваясь, мимо следовали яркокрашенные мусоровозы и просто грузовики с хламом в кузовах. Мечтам А. о том, что как-нибудь да и проникнет в ворота, сбыться не пришлось: перед КПП было обширное пустое пространство, где его, конечно, заметили бы, а попытаться всучить охране рупь или прошмыгнуть тишком — было не по душе А., не любившему вступать в контакт со служивым человеком.

Забор действительно имелся только возле КПП, метров сто в длину, обойти слева? Там начинался болотистый лесок, осинки, кустарники, канавы и пружинящая почва — все вполне проходимое. Свалочное плато главенствовало над округой; там, наверху, было тихо, и никакой дым (в мыслях представлявшийся А. накануне) над ней не висел: на свалке словно был выходной. Продравшись сквозь жидкую, низкорослую чащобу, сделав изрядный крюк и оказавшись, по расчетам, довольно уже в отдалении от места въезда, А. начал выбираться в сторону свалки, где путь ему вскоре преградил ров. А ровчик-то был ой-ей-ей... Накануне он думал: метра три-четыре, перепрыгнет (художник был ленив и полноват, в вероятных неладах с физкультурой), да только ширина рва была метров семь, и во рву не какая-нибудь присохшая к берегам смазка, но вполне полноводная, омерзительно пахнувшая речка.

А. не расстроился — завелся и пошел вдоль рва, где в высокой траве виднелись намеки на тропу — но, похоже, проложенную таким же дилетантом: растения стояли тесно, лишь едва расслаиваясь над тропинкой. Промышленного характера эта дорога, очевидно, не имела. Дело он начал не с того конца.

Растения были выше пояса и мокрыми — как назло, всю ночь лил дождь. Штаны путника вскоре промокли насквозь, и теперь и мысли уже не могло возникнуть оставить затею. Вперед и только! Несколько раз А. выбирался на край рва — вдруг да канава сузилась или объявился брод. Нет, изменений не было. От нечего делать А. принялся размышлять о том, как называются должности работников свалки: младший уничтожитель, старший разравниватель, стратег-распределитель; о том, как тут с планом, за что начисляют премии, что проверяют комиссии и в чем возможны злоупотребления. Все было смутно, кроме разве источника приработков. Идти становилось скучно, и он начал уже подумывать, что разумнее было сговориться, остановив машину, с шофером, чтобы тот за рубль провез его внутрь, или пройти мимо КПП, прикинувшись кем-нибудь, что ли. Еще раз выйдя на край рва, он увидел, что впереди, метрах в двадцати, наведена некая переправа: срубленные осинки, доски и ящики образовали плавучий островок посередине между берегами.

На берегу против островка следов было мало, то есть это не был искомый вход на свалку; тем не менее переправа существовала, однако А., вероятно на радостях, тут же шагнул мимо доски, та ушла под воду, выскользнула в сторону и нога провалилась в трясину. Ногу он, повалившись набок, со чмоком вырвал, но вода в сапог успела набраться. Теперь он туда хоть вплавь, но доберется... Наученный опытом, аккуратно переправился на плавучий остров, где обнаружил, что пути дальше нет: то ли по вине подводного течения, то ли по небрежности последнего из перешедших, ящик, место которому между островком и другим берегом, отдрейфовал в сторону. Пришлось возвратиться.

Хлюпая правым сапогом, А. продолжил свой путь. Переправ не было, вернее были две — но такие же, рассредоточившиеся. Далее началось болото, ров, однако, продолжался, и пришлось уйти от него влево. В общем-то сложность предприятия пока соответствовала рассказам Б.

Болотце кончилось, опять начался мелкий лесок: топкий, с сочной влаголюбивой травой, лес оборвался лугом, и по лугу шел человек, который, очевидно, и был искомый сталкер, ибо кому здесь еще ходить. Все же насчет сложностей Б. перебрал, потому что сталкер этот был не очень-то и нужен: через луг и далее — в лес, уводя влево, в обход болота, вела тропа.

Это, никаких сомнений, и был основной тракт — разъезженный, заглубившийся в мягкую, переувлажненную почву, с досками и корягами, перекинутыми через выбоины и ручьи; по обо-

чинам валялся хлам, очевидно взятый со свалки и который то ли просто выпал, то ли ноша оказалась нестоящей переть ее так далеко. Тот человек шел не спеша, ни в каких не сапогах, без палки, шел медленно, так что А. завис в нерешительности: обгонять мужика, пожалуй, не следовало, потому что неизвестно, что там дальше, но и плестись в хвосте не хотелось. Само собой вышло так, что он мужика нагнал и шел за ним следом, в затылок. Почувствовав идущего сзади, человек отступил, пропуская А. вперед, но тот обгонять не стал и признался, что идет впервые и дорогу не знает. Мужчина очень солидно прихмыкнул и утвердительно, согласно покачал головой, подтверждая кивком не то, что он понял собеседника, и не то даже, что попасть на свалку без провожатого сложно, но очевидную необходимость проникновения туда.

— А что тебя интересует? — спросил он чуть погодя.

— А так, — промямлил застигнутый врасплох А., почувствовав себя если и не шпионом, то соглядатаем, — так... увидим...

— А что тут разглядывать. Что надо — за тем и идешь.

Мужик был пенсионного возраста, а лет десять-пятнадцать-двадцать назад принадлежал, похоже, к типу героя нашего времени в понимании журнала «Крокодил» и плакатов на стенах: родившийся на заре кадровый рабочий с твердо-широкими скулами, крепкие руки в до локтей закатанной рубашке, глаза глядят непрерывно пристально вперед, усы плотные и седые — даже скорее не седые, но убеленные мудростью. На плакатах обычно он дополнялся двумя младшими поколениями: юношей при комсомольском значке и маленьким октябренок — одна из многих троиц тех лет, а кроме этой: черный, желтый и белый; рабочий, колхозница и некто хлипкий в очках; солдат, матрос и летчик; основоположник, соратник, продолжатель и основатель; папа, мама и — на общих руках — дите, мелком выводящее по небу: «Пусть всегда будет солнце!» Бывший бог-отец постарел, оплыл, смотрел под ноги — дело-то все же на болоте, с тропинки сходить не след. Завязав разговор, он, несколько одышливо воодушевляясь, всю расписывал свалку, говоря о той, как о чем-то принадлежащем ему лично, по-хозяйски. Время от времени он поглядывал, канонически прищуривая взгляд, на спутника — проверяя, а достоин ли тот его наставничества. А. старательно, хотя и неуклюже имитировал заинтересованность и веру в рассказы, по которым выходило, что свой брак сюда свозит чуть ли не ювелирный завод.

— А вы зачем идете? — осведомился А., почувствовав, что одобрительного молчания с его стороны уже недостаточно.

Начался рассказ о пенсионных занятиях усатого, а занимался он помимо садоводства и рыбалки изготовлением рамок для разных там картинок. «Что за картинки?» — услыша, семь-восемь, близкое слово, спросил А. Оказывается — для фотографий, рамки покупал сосед по даче. А. хотел было выяснить, зачем они соседу, но В. начал говорить о том, как трудно

раздобыть профили, потому что новых делают мало разнообразных и только на свалке можно еще отыскать что-то приличное, ну, или в заброшенном доме, но это ж в сельской местности... Профили он отдирает от старой мебели (из нагрудного кармана пиджака — было видно под распахнутой плащ-палаткой — острием торчала стамеска); мебели же сюда свозили видимо-невидимо: «С комиссионкой свяжешься — себе дорожке выйдешь, вот на свалку и отправляют», куда вывозили, судя по его словам, чуть ли не гарнитуры времен Павла эдак Второго, реставрируя которые неплохо промышлял некий антиквар Г.

— А сосед что, фотограф? — вернулся к теме А. — Зачем ему рамки? В альбом же клеют.

— Нет, — ответил В., — пенсионер он. Шишка был крупная, а два года назад на пенсию поперли, так он и начал свои картины печатать.

— Печатать? Фотографировать?

— А нет. Щелкать он всю жизнь щелкал. Нащелкает, у себя на службе отдаст потом, ему там и проявят и высушат, он их и складывает, некогда возиться. Занятой. А теперь купил агрегат и сидит в темноте.

А. ужаснулся, представив соседа: сначала, очевидно, поиски по всем углам и ящикам запыленных коробок, которые перевязаны бечевками, либо разноцветной, выцветшей тесьмой, взятой из запасов жены; тесьма, развязанная, не расправляется, не уступает своих изгибов, а в коробках, в ячейках — сухие, скрученные до визга рулончики негативов. Постепенно разгораясь, теряя выработанные за годы начальствования спокойствие и невозмутимость, входя в раж, не сверяясь уже с вращим списком на обратной стороне крышки (лиловым химическим, либо обычным, полустершимся карандашом там почти код, какие-то условные слова, которые, казалось, доходчиво сохраняют обстоятельства съемки), щурится над красно-блестящей жидкостью в кювете, общедоступным вариантом ясновидящего вглядываясь в незрячую, с бельмом схожую пелену, сквозь которую не спеша, лениво, как бы обратно тая, проступают чуть смазанные колыханием воды (рука, торопя изображение, гладит бумагу) контуры, темные точки, силуэты — недопроявленные, кто такие? Кто за люди, кто за город? Но и проявившись — кто такие? Кто стоит, прислонившись к косяку? Кто держит бокал в руке? кто поднимает бокал? за что пьет? Кто за вид, кто за дом, кто они, глядящие в объектив? Редко, очень редко вспоминая тех, кто всплывал со дна ванночки, и вздрагивая, когда узнавал себя — будто перебрав в ресторане, увидел вдруг свое кривое лицо в туалетном зеркале. Печатает, вставляет в рамки. Вешает на стены. Жизнь вторая, навечно. Успевай только смахивать пыль.

Спутник между тем умолк, стал идти осторожнее: они приближались к цели. Многочисленные ручейки были снабжены перекинутыми досками, ручейки ширились и сливались, компаньоны

пересекали какую-то дельту — один рукав, другой, вот, кажется, последний и точно: канава здесь рассасывалась в болото, через которое между кочками были набросаны доски, коряги, всякий хлам. Без особенных сложностей они перебрались через топь и, хватаясь за черную землю и обломок бетонной плиты, взобрались на плато.

Первое, что поразило здесь А., — свет. Здесь оказалось очень светло. Ровное, вдали чуть уходящее вверх пространство было белым, блестящим от многочисленных стекол, мерцало, раздражая глаза бликами; кое-где над плато курились — будто подземные — дымки, тоже светлые, молочные. Спутник достал сигарету, присел на какой-то ящик и, переводя дух, закурил.

— Ну вот, — сказал он, — ищи свое счастье. Тут, по-правде, все перемешано, что куда ссыпать — не разбирают, но мебели если — это тебе со мной, если с мебельной фабрики огрызки, то они вон там, — он махнул рукой, — валяются, с мотозавода хлам в той вон вроде стороне. А где дым — так это с помоек, обьедки. Там если из дому кто и выкинул что, так сами ребята дерехватят. Они посторонних не любят.

— А книги, — заикнулся А., — попадаются?

— Книжки? Макулатура всякая? Так ее теперь мало. Но бывает. Попадает под ноги. Вроде есть она тут где-то. Ищи. Ты, выходит, из этих... интеллигент, — он сделал ударение на втором «и», — ну-ну, — он, как бы не одобряя, покачал головой. — Ищи. Бывай здоров.

Пахло омерзительно, воняло — кисло, тошнотворно. Ошарашил А. и весь облик свалки: после вчерашней встречи, он, наслушавшись художниковых рассказней, представил свалку неким вариантом спецмагазина для бедных, громадными пространствами вторичного распределения, где разложены почти чистенькие, нормальные, чуть, возможно, с трещинкой, вещи: ходи выбирай. Вещи не столько одряхлевшие, сломанные, сколько просто надоевшие хозяевам, вышедшие из моды — отголосок читанного о лавках парижских старьевщиков. Блошиный рынок, клошары, «Бато-лавуар», Аполлинер, запах жареных каштанов, Сен-Жермен, дымный туман, осень, желтые листья... Что же, моросило. Под ноги лезли осколки, обрывки, обрезки, просто грязь, выжатые, скрюченные тубы, ржавые мусорники, батарейки, проволока, ошметки и густки масляной краски; все было утрамбовано, обнялось, слиплось друг с другом.

Людей было немного, то одна, то другая по-грибниковски согбенная фигура маячила вдали. В секторе, планово отведенном под заполнение, группировались мусоровозы — стоя тесно друг к другу, медленно извергая накопленное за поездку; мусорщики внимательно ворошили палками мусор, то и дело извлекая и складывая, сортируя по принадлежности, бутылки, доски, что-то еще. Тут же сновали, рыча, бульдозеры, уминая привезенное, спихивая мусор под откос — расширяя плато.

Суэта напоминала, разумеется, копошение мух на навозе, из

своего рода навоза свалка, впрочем, и состояла — выгребная яма города: все, что разнообразными путями входило в его организм, с неизбежностью оказывалось здесь; все недопереваренное, все отжимки, косточки. По свалке мигрировали стаи птиц, то они вспархивали из-под бульдозера, то рассаживались: чайки причем располагались аккуратно, напоминая солдатское кладбище. Да и сам пейзаж заставлял думать о войне — в щебен разрушенный город, плоскую поверхность которого болезненно нарушали отдельно стоящие холодильники, газовые плиты: нахолившись, руки прижав к груди, испуганно не находя вокруг себя стен и хозяйки со сковородкой рядом.

Горы серого, разбитого пенопласта, куски досок, собранные в островки, над которыми, как над льдиной зимовщиков, установили красные флажки — на переработку, что ли? Удивило скопление хлебных фургонов, точнее — коробов, с тех снятых; оказалось, что фургончики служили домами, бытовками клошаров. Там висела их цивильная одежда, стояли сумки, тючки с отобранным за сегодня добром. Зрение уставало от однообразия мелкого мусора, одного и того же на всяком квадратном метре, и глаз выискивал монстров: громадный ялик — в сохранности, человек на двадцать; куски стен, цельные участки кирпичной кладки; пружинящая каучуковая возвышенность, словно громадное вымя; прекрасные среди хлама шафранные конусы куч опилок; стенд какого-то школьного или вузовского уголка: «к работать с книго», с текстом, выписанным по фанере гуашью: «ия понимания прочитанного следует научиться выделять существенно основное, есс заставят сосредоточиться же воспринимает содержание; аботаает, собст ая мысль и этом читатель одит к ыводам».

Свалка как объект природы — самоорганизовывалась: нерукотворно уминались, проваливались одни участки, выгибались другие, плотно прорезали русла, по которым вниз стекала дождевая вода; между мусором, в редких свободных седловинах А. неожиданно обнаружил самые настоящие помидорные плантации — с плодами, уже наливающимися красным. В другом месте прижилась колония расползшихся по земле глянцевого, восково-желтого тыквочек.

Прогулка, в сущности, исчерпала себя. Ну что, добрался, осмотрелся и ладно — другое дело, если есть заинтересованность материальная. А. попытался пристроиться в хвост к нескольким старателям: что ищут? Тем это было не по душе, они неодобрительно оборачивались, глядели хмуро, настороженно; вновь возвращались к своему промыслу — в самом деле, точно под бомбежкой выискивая среди развалин что-то необходимое позарез. Волокли на себе частично целую мебелишку — как они ее домой доставят? На электричке или договариваются с водителями? Да уж устроились как-нибудь. Какие-то пацаны перебирали, примеряя, смеясь, выбракованные, искаженные мотошлемы: сливовые, квадратные; поджигали, веселясь, мусор.

По натуре склонный не к приобретениям — к созерцанию, А. уже не понимал, что он тут забыл, но по инерции старался возобновить интерес к попадавшему под ноги. Пару раз ему почудилось, что видит вещь, им же сношенную. Может быть и так, но скорее всего — чужая. И снова осколки, щебенка, щепки, комья, тряпки, гигантские зеленые, буреющие пряди — выкорчеванные отцветшие цветы с городских клумб; крышка от финского майонеза, какого А. в ином месте и не видал, папка с важным, официальным докладом солидной давности — растрепанным, полувыцветшим: « ши работники сельского хозяйства единодушно ерживают и одобряют аграрную политику и, основные положения которой были изло те. Все это заставляет нас внимательно изучить состояние дел в сельскохозяйственном производстве ». Поверх текста кое-где виднелась карандашная правка: «заставляют» заменено на «обязывает», «внимательно» на «постоянно», «изучить» переделано в «изучать».

На плато история подзадержалась изрядно: здесь в общем сегодня лежали вместе остатки времен предыдущих, теперь лишь покинувших город, впрочем — не полностью: город точно платил подоходный налог с прошедших — с каждого по отдельности — десятилетий и содержится здесь в обратной пропорции — дальнего больше, нынешнего меньше; лежит вперемешку и, если покопаться, можно из деталек составить уменьшенную, но действующую его модель. Так некто Д., — было рассказано по пути через болото, — за пару лет умудрился из разрозненных, разновременных частей составить машинку «Зингер», машинку, впрочем, самую настоящую и прекрасно работающую.

Темные, невеселые люди ходили по свалке, пытаюсь стянуть что-нибудь у прошлого: старики в растоптанных башмаках, деловые, быстро перемещающиеся мужчины, старухи, увязывающие и волокущие тряпье, которым побрезговали в лавке вторсырья, безмятежное пацанье, а вон еще какой-то чудик печально смотрит под ноги, выглядывая какую-то позарез необходимую глупость — вроде ушедшего детства. И прошлое А. тоже, конечно, было свалено тут же; где-то за грудой битой сантехники и его память — скрытые желто-мутным дымом, паром объедков какие-нибудь чугунные церковные перильца в оранжевом свете августовского вечера; кому до них дело, разве что чуднику вдруг для полного счастья, — как недостающий до полноты «Зингера» челнок — для полной комплектности машинки его души потребуются эти перильца и теплый вечер, но вряд ли он набредет на них, не побрезгует вытащить из-под щепы и бетонной крошки.

Увы, вот и благоглупые умствования — что ж, устал, поганым дымом продымился, сенсорно покушавши, да не насытимшись: так придешь в гости в солидный дом, от скуки налопаешься до изумленья, вернешься в телесной и душевной печалях домой и — к привычному хлебушку с сыром. Печаль не кормит, хотя

такое изысканное тление, как бы в лиловых тонах, призрачно нагое смертное тело, в синюющих пальцах — дымится длинная и тонкая сигаретка, и гнильца, гнильца — то ли помидоры протухли, то ли сам ты в похмелье, а из ноздрей и ушей, звеня, удаляются мухи — серебряные, в патине.

Он заблудился. Солнце сквозь облачность просвечивало — знать бы только, с какой стороны оно было вначале. Крупных ориентиров здесь не было, а мелкие — не запомнил. Машины приезжали и уезжали, бульдозеры тоже перемещались (отчего-то, кстати, казалось, что внутри там никого нет). Свалка полого возвышалась, он пошел вверх. Окрестности оттуда оказались видны хорошо: свалка, лес, окружавший ее со всех сторон, трубы, дымящие за лесом, канава, тропинка через луг, переправа через болото — там видны были волокущие свои находки. Над свалкой интенсивно перемещались птицы разных видов и сортов, каждая стая держалась в своей плоскости, проныря одна другую, не сталкиваясь: черные, белые, в крапинку и полоску, разнообразные от разнообразного питания: среди них были, вероятно, и пенопластно-железные, и цельнометаллические с эбонитовыми клювами, и птицы с дощатыми, ржаво скрипящими крыльями, прикрепленными к туловищу дверными петлями. Следовало, пожалуй, отыскать что-нибудь себе на память, не крупное, с двойным смыслом, какой-нибудь ключ, что ли, понеобычное, судьба которому на свалку возвратиться. Носить ключ всегда при себе, чтобы ощущать, как с каждым годом все более натягиваются почти резиновые нити, которые тянут, волокут его обратно в кучу, из которой он был взят; как наконец со свистом — прорвав карман, разбив стекло в квартире — тот вернется сюда, в место, где живет небытие, — такая вот планетарность мыслей и взглядов посетила стоящего на мусорной вершине А.

Наметив и приблизительно запомнив дорогу, он пошел вниз. Устал, предвкушая душ или — лучше — ванну, за дорогой не следил, воспринимая в этом измельченном мире все по отдельности: очередного старателя, скопление длинной, завивающейся по ветру стружки, кассовый аппарат, окаменелые гранулы лиловых удобрений; опять, похоже, заплутал. Подниматься еще раз — не хотелось, и он наудачу побрел в сторону кромки леса, рассчитывая потом просто пойти вдоль канавы — пока не наткнется на переправу. Очередной раз взглянув под ноги, он оторопел: здесь вокруг шуршали, перекатывались, на краткое время вспархивали бумаги. Под ногами был толстый слой листов, клочков, вырванных страниц, раскуроченных папок, сморщенных, ржавых бумаг.

Но клочки и листки оказывались содержания самого убогого: квитанции, рецепты, билеты, программки, бланки школы старших пионервожатых, инструкции к полотерам, пустые анкеты, все — грязное. Постепенно, однако, бумаги делались осмысленнее: под ноги полезли газетные листы, допотопные иллюстри-

рованные журналы, появились тут и люди, которые, пристроившись на куче макулатуры, разглядывали розовых работниц в дебелих одеждах, кукурузу—царицу полей, виды новых микрорайонов, первый спутник, карикатуры на абстракционистов и стилиг... Хотя и виднелись следы поджогов, огонь всю эту массу не брал — сырость мешала.

Час он проползал на карачках, листая то и это, замарался по уши. Увы — любопытно и только. Начал накрапывать дождик. А. встал, отряхнулся и пошел было своей дорогой, как вдруг почва ушла из-под ног, и он поехал на спине куда-то вниз, подпрыгивая на трамплинчиках, разворашивая, взметая макулатуру, наконец выехал на ровное место и толчком затормозился.

— А аккуратнее? Нельзя? — чуть раздраженно спросил его человек, оказавшийся на пути. — Вот ведь что натворили. — Он показал книжку, треснувшую по корешку.

— А?! Что такое? Где я?

— Где... На свалке. Ваше счастье, что на меня наткнулись.

Да, дальше можно было лететь и лететь: метров на... нет, сверху не скажешь, вниз — книжными ступенями — уходил почти что шахтный ствол. На ярусах люди ковырялись в развалах.

— Петр, — представился человек и, когда А. назвал в ответ, спросил: — Поесть ничего не найдется? Нет? Ну не беда, мы одного отрядили, должен скоро принести. А закурить?

Сигареты у А. были. Оба, присев на сложенную из юридических томов завалинку, закурили. Почуя дымок, вверх поползли остальные старатели. Пачку распатронили, сигарет было немного — передавали по кругу.

— Вы тут что, с весны сидите? — шутливо осведомился А. — Что без курева?

— Да кто там помнит, с весны не с весны... — рассеянно отвечал Петр. — Курево приносят, неувязочка просто сегодня. Домой идешь — берешь книги, обратно — с куревом. Осень скоро, дожди, — он вздохнул, — а на следующий год, говорят, дорогу подведут и все это на бумажную фабрику отправят.

Люди здесь — медленно доходило до А. — находились явно не с сегодняшнего утра: в потертой, грязноватой одежде, небритые, здоровьем не пышущие, со впалыми глазами. Поболтав немного, народец потек вниз, по местам, передавая сигареты кому-то там еще в глубине. Здесь же, метрах в десяти от верхнего края, была база что ли — с помощью позаимствованных на свалке досок в книжных стенах были устроены пещеры, где лежали сумки, одежда, стопки отобранных книг. А. пробежал взглядом по корешкам, и ноги его подкосились: «Господи, — произнес он с дрожью в голосе, — и это все так тут и лежит?!»

— Да там много еще что лежит, — спокойно сказал собеседник, отчищавший, приводя в мало-мальски сносный вид книги из груды перед ним, — спуститесь — увидите.

Дна колодца как видно не было, так и — по мере спуска — видно не стало; давление на слои возрастало, просто так выдернуть приглянувшуюся книгу невозможно, требовались раскопки по всему ярусу. Колодец, похоже, уходил до центра земли и книги чем дальше — тем более спрессовывались, переходя в какое-то иное агрегатное состояние: без огня обугливаясь, становясь твердыми, почти минералами с антрацитным блеском среза страниц. Спускаясь, он наткнулся на парня, с которым где-то уже встречался. Они кивнули друг другу. «Витя, — напомнил тот, разрешая неловкость, — ну привет».

— Тут такая технология, — продолжил он, — все подряд не очень-то дергай, а то лавина сойдет, завалит. Вытащим, так уж и быть, но весь порядок нарушишь. Еще, — добавил он, остановив нетерпеливо озирающегося А. — мусор в сторону откладывай, мы его наверх передаем, на свалку. Чтобы не мешался. Если что-то найдешь разрозненное — все равно бери, ну, это понятно.

Уже смеркалось, когда закопавшегося в книгах А. позвали наверх. Прижимая к груди отобранное, передавая книги верхним, он вскарабкался наверх. Народ сидел кружком, собираясь ужинать — еду принесли, в стороне кипятили воду для чая. А., переведя дух после подъема, закурил.

— Да, — отыскал его глазами Петр, — вы сейчас домой поедете, верно? Захватите эти пачки, — он указал на стопки, днем повергшие А. в шок. — А когда к нам еще надумаете, захватите съестного, не много — батон там, чай, если не сложно. Курево. Хорошо? Как средства позволяют.

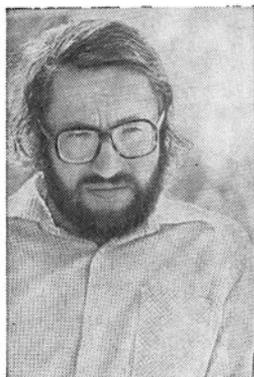
— А куда мне их нести? — спросил А., поднимаясь на ноги.

— Как куда? — удивился собеседник. — Домой.

— Кому домой? — опешил в свою очередь А.

— К себе... — продолжал недоумевать Петя.

— Нет, ребята, — сказал, возвращаясь на место, А., — так не годится. Я только сегодня пришел, не пойду я никуда.



Сигитас ГЯДА

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И ПАУЗА

Марте

Перевел Владимир МИКУШЕВИЧ

ОТЧАЯНЬЕ

Все прогоркло, все мне надоело;
Распадаются душа и тело,

Не срastись... Не знаю, кто калечит,
Кто и где ходячих мертвых лечит.

Вот она, холодная волна;
Все еще растет моя вина.

Не убил, не предал, только глухи
К правоте серебряные мухи,

Все жужжат, вселенной зная цену;
Вечный бред... Скорее впрысни в вену,

Господи, такого эликсира,
Чтобы вновь обрел я свежесть мира.

Чтобы брел я за смертью песками,
Судорожно двигаясь бросками.

ВО ВЛАСТИ ПЕСКОВ

Чахнешь ты, бледнеешь, изможденный,
кажется, никем непобежденный.

Как никем? А кто же в слове дышит
за тебя, кто чует, видит, слышит,

яростно твоей печали вторя?
Олигархия огней и моря

С дюнами? Нет ничего сильнее.
Синяя, она еще синее,

чем цветущий лен; белей, чем белый
снег; Никто — соперник, в прошлом смелый;

Литовский поэт и переводчик лауреат Государственной премии Литовской ССР Сигитас ГЯДА родился в 1943 году. Живет в Вильнюсе. Среди книг его стихов: «Следы» (1966), «Страздас» (1970), «26 песен осени и лета» (1972), «Лунные цветы» (1977), «Цветущая слива у озера Снойгина» (1981), «Скворец под луной» (1984), «Родина мамонтов» (1985). Пишет стихи и пьесы для детей. Переводил на литовский язык стихи К. Чуковского, Р. М. Рильке, Г. Тракля, И. Бобровского и других поэтов. Государственная премия Литовской ССР присуждена С. Гяде в 1985 году за книгу «Скворец под луной».

мощь, которой прежде знал ты цену;
на песок бросало море пену,

значит, были ветры, были бури,
а теперь ты жалок в дряхлой дури;

брат моей души, ты болен тоже;
смертное себе готовь ты ложе.

ОСЕНЬ

Осени сопутствуют вдали тени, словно свита;
Зелень для седеющей земли — больше не
защита;

С тихую печалью сумерки сгустились,
Сев земной закончив, люди возвратились;
Виден трактор в кленах, весь облеплен глиной,
Вышли звезды в небо чередою длинной.

Осень, ты родная в сладости смертельной;
Серебрится время и течет бесцельно,
Между пальцев льется, от ловца бежит;
Слабо сердце бьется, без конца дрожит,
Стынет вечер синий, синь под облаками,
Небеса вздыхают, поводя боками;
Ржавая ворона, пепельная мышь;
Проклятая богом, ты, душа, грустишь.

Совладай попробуй с мрачною судьбою!
Жить во мраке будешь ты самим собою,
Видишь ты, как хрупки лунные скорлупки;
Замерзая, вспомнишь все свои проступки;
Звездам не до смерти... Смерть недалеко,
Двойника не примешь за проводника;
Только голубеет сад в сиянье строгом,
И над бузиною тихий ангел... С богом!

НОЧЛЕГ В УДМУРТИИ

Дымянка расцвела, а Волга догорала,
беззвучно ширилась белеющим цветком,
и в зыбком золоте вечернем замирала,
как будто в сумерках пахнуло холодком
зимы, хоть нечего желать, а мрак не страшен;
пахучка вздрогнула, напомнив: ты иди
через Удмуртию средь черно-синих пашен,

где солнце синее, твой синий глаз вдали,
и серых ящериц не счесть на лунном диске;
глядят они, как нефть качают из земли,
жизнь — бег неистовый, а путь еще не близкий,
Урал серебряный, снег — пламень впереди;
небесный в мыле конь, сон детский словно

вживе:
коровка божья, нет, снежинка в конской гриве;

дней белых мотыльки; прозрачен мир, гляди:
березы на ветру, плетень под белой вербой,
свидетельствует все: мечта была неверной,

лишь здесь, в Удмуртии, доподлинная ты,
на этих бороздах твоя худая шея,
слепая рыба там, где мир для темноты
созрел на небесах, тревожно зеленея, —
о бесконечный мир! — в бессмысленной грязи
смолевка жалкая на берегу бугристом,
где скользкая ольха качается вблизи,
где падал и вставал, вновь падая в нечистом
смятении, сиял и, выдыхаясь, гас

и бог и человек, чтобы насытить нас
азиатской мудростью в наитии лучистом;
где волны белые искрятся, ты, господь,
мы жертвуем собой под хриплый крик вороний,
а чайки голодны, и вторит наша плоть
полету белому в таинственной погоне.

УТРЕННИЕ ЦВЕТЫ

В сыром песке уже белели розы,
сияли стебли в чайные вестей;
не вняв словам пророческой угрозы,
мы видели замученных детей;
ты пел, а ночи темные как прежде
вокруг тебя кружили; кто бы мог
в своей земной рыдающей надежде
тянуться к месяцу среди тревог?

Пой, слушая, как шепчутся каштаны,
когда красавец май к тебе шагнул;
тебе — над морем ветер беспрестанный,
а мне что на земле осталось? — гул,
моей жестокой молодости голос,
когда дразнил неведомый покой;
расцвел, однако, в сердце гладиолус,
и белый распускается левкой;

прощание с гвоздикой в тусклой сини
и с горечавкою... голубизна
глаз Аполлоновых; подобный льдине
торс; лишь вода морская мне видна,
чья зелень, звездный вихрь среди тумана,
мольбою утешительной звучит,
но что мне делать; утренняя рана
опять открылась и кровотоцит.

ТОСКА

Мне выздороветь надо бы давно,
Однако сердце странных чувств полно,
Пора бы мне забыть мои печали
И написать о том, как расцветали
Тобою купленные гиацинты...

Но так меня прельщают лабиринты
Со стариной и новизной загадок,
Так путь неизмеримый сердцу сладок,
Что, онемев, оттаивают пальцы.

О боже, помоги... не понаслышке
Я знаю, снюсь я девочке-худышке,
А без тебя ходить я не умею,

Так помоги же свидеться мне с нею;
Ее волос мне хочется коснуться,
И травы долгожданные проснутся,
Чтобы цвести, а мы в сиянье луга
Себя увидим, глядя друг на друга.

О боже, помоги... Снег занят гонкой,
Ты мне писала маленькой ручонкой,
С любовью письма горькие порою;
Мы одиноки, словно брат с сестрою.
Ты там, где нет меня; там, где я буду,
Тебя не встречу я; разлука всюду;
Но ты в пространстве без конца и края,
Сестра мне, дочь и мать голубая.

СТИХОТВОРЕНИЕ О РОДНОМ ДОМЕ

Хочу прославить мир живой и стройный
вне хаоса, не ужас, не смятенье,
а край родной, бесплодный, но спокойный,
где лотос, благородное растение,
не в Индии, а на болоте дома,
на той земле, которая знакома
мне в изобилии корней и соков.
где май не посрамит своих пророков.

Прославить я хочу леса густые,
где мы пасли коров и где черника
цвела, где ветер теплый в чаще дикой,
где шум берез и где глядят озера
таинственно в прохладный сумрак бора.

Прославить я хочу поля святые,
где жаворонки звонкие гнездились,
где старые сороки вслух сердились,
где куропатки ладили друг с дружкой
и где ольшаник с низенькой избушкой.

Там снег растаял, небо прояснилось,
там паводком размыты берега,
и никому, наверное, не снилось,
как родина моя мне дорога,
снега, луга, стога... Как там привольно!
Но даже в синеве дышать мне больно.
Не умирать же, господи, весной!
А сердце ноет... Боль моя со мною.

ПАУЗА

Отец, посадить бы тюльпаны;
и, когда заалят цветы,
ты посмотришь на них и забудешь
все, что в жизни утрачивал ты.

Отец, посадить бы тюльпаны,
пусть у них зеленеют листья,
ты посмотришь на них и забудешь,
как в отчаянье мучился ты.

Отец, посадить бы тюльпаны;
пусть белеют они, как туман;
посмотрев на них, ты поседеешь:
голова твоя — белый тюльпан.

РАЗРЫВЫ В ЦЕПИ

На очередных Всесоюзных философских чтениях молодых ученых кипели страсти. Шли споры о накопившихся проблемах в экономике, культуре, общественных науках. После официальной части наш автор Александр ДЬЯЧЕНКО продолжил завязавшийся спор о молодежи с кандидатом философских наук, кандидатом искусствоведения, членом аналитической группы популярной молодежной телепрограммы «12-й этаж» Владимиром БОРЕВЫМ.

С ДИПЛОМОМ ВУЗА — В ГРУЗЧИКИ!

А. Д. Сейчас время вопросов. Мы все больше отказываемся от деклараций типа: «Молодым везде у нас дорога...» и предпочитаем спрашивать: «Легко ли быть молодым?» Но давайте для начала спросим вот о чем: кто они, молодые, — нигилисты? маменькины сынки? конформисты? бунтари? потерянные? растерянные?

В. Б. Боюсь, что на поставленный таким образом вопрос сегодня никто, строго говоря, ответить не сможет. Мы мало что знаем о молодежи, о ее проблемах, потребностях. Молодежный мир — сложный, многообразный, противоречивый. Среди молодых есть консерваторы и нигилисты, бездумные и творчески мыслящие... Спектр этот безграничен, а мы продолжаем брюзжать, по старинке причесывая всех под одну гребенку. Увы, мы до сих пор не имеем института, который бы занимался этими вопросами.

Молодежь необходимо изучать еще и потому, что ее проблемы — суть проблемы общества, ее породившего. По данным Прокуратуры СССР, сегодня 70 процентов преступлений совершаются людьми моложе 25 лет, пятая часть рассматриваемых уголовных дел — подростковые. Развивается такое явление, как немотивированная преступность. Овладеть всеми этими процессами мы пока не в состоянии. Кавалерийские же наскоки на проблемы, запретительство

результатов не дают. Вот почему сейчас гораздо важнее все хорошенько взвесить, проанализировать, поставить четкий диагноз.

А. Д. Не кажется ли вам, что негативные явления, происходящие в молодежной среде, — не что иное как признаки «потерянного поколения»? Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?

В. Б. Как известно, впервые о «потерянных» заговорил Эрнест Хэмингуэй, имея в виду своих молодых сверстников, переживших первую мировую войну. Ощущение потерянности, отчужденности возникает, когда человек сталкивается с жестокими, бессмысленными для него сторонами жизни, с ложью и бездуховностью. Особенно если человек молод, незащищен, экспрессивен. Коллизии 60—70-х годов, конечно же, несравнимы с тем, что пережило поколение Хэмингуэя, но, думаю, это время все же оставило свой отпечаток в душах молодых. Застой в экономике, парадность в культуре, ложь и неискренность в повседневной жизни — все это несомненно способствовало тому, что у части молодежи возникал комплекс потерянности и растерянности. Должен сразу оговориться, отчуждение охватило различные слои молодежи в разной мере. Современная молодежь — ведь это не только «трудные». Это и рабочий класс, и студенты, и учителя, и инженеры... Но прежде всего отчужденность проявляется в том, что нынешний молодой человек зачастую запаздывает с достижением социаль-

ной зрелости. И не только бы застою тому виной — это было бы слишком просто. Нельзя не учитывать и те изменения, которые вносит в жизнь научно-технический прогресс.

По мнению социолога В. И. Чепурова, вот что является основными критериями социальной зрелости молодежи:

— насколько молодое поколение воспроизводит структуру занятости взрослого населения, то есть насколько оно повторяет схему участия в производстве «по горизонтали» и «по вертикали»;

— насколько молодежь достигает характерных для общества показателей в сфере распределения и потребления;

— количественный и качественный уровень семейно-брачных отношений в молодежной среде должен совпадать с такими же показателями, характерными для всего общества;

— то же — об участии в работе государственных органов, политических и общественных организаций;

— то же — о степени достижения средних показателей участия в культуре, в духовном производстве и потреблении.

Даже при беглом рассмотрении легко обнаружить, что большинство из перечисленных критериев значительной частью молодежи не достигается. Если, конечно, принять за предельный молодежный потолок, скажем, 28—30 лет.

А. Д. Думаю, тридцатилетний Данте мог бы и не согласиться, если бы его отнесли к молодым. Помните, как он писал о себе тридцатипятилетнем: «Земную жизнь пройдя до половины...»

В. Б. Да, в нынешние времена не всякий скажет о себе, как Данте. Ведь только на достижение социальной зрелости уходит добрая половина жизни. Возьмите хотя бы такой показатель социальной зрелости, как участие в культурном, духовном производстве и потреблении. С некоторых пор возможность реализовать свои творческие задатки стала для молодого человека проблемой. Вспомните постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» 1976 года. Там, в частности, говорилось о необходимости активнее привлекать талантливую молодежь в творческие союзы. Прошло

уже десять лет со дня принятия постановления. И что же, как оно выполняется? А никак. Скажем, если на момент его принятия в Союзе писателей состояло чуть более трех десятков членов комсомольского возраста, то сейчас там нет ни одного такого члена.

Не менее тягостное положение создалось и в науке. Двенадцать лет назад я закончил философский факультет МГУ. Так вот, из 120 выпускников моего курса более десятка сейчас работают сторожами и дворниками, слесарями-сантехниками. Некоторые обратились к религии, ушли, как я это называю, в духовную эмиграцию. Причиной этого была нередко невозможность реализовать свои творческие потенции. Всего же по стране около 7 миллионов выпускников высших учебных заведений на сегодняшний день заняты трудом, не требующим вузовского образования. И если оглянуться вокруг, то и без скрупулезных данных можно сделать вывод: молодежь не воспроизводит в достаточной мере структуру занятости более старшего поколения. Особенно это бросается в глаза в сфере управления. По прикидкам социологов, лишь 10 процентов управленческих мест сегодня занято людьми моложе сорока лет. То же самое со степенью достижения молодым поколением характерных для общества показателей в сфере распределения и потребления. Как известно, доход, необходимый для нормального потребления, в нашей стране составляет 220 рублей на члена семьи. Надо ли привлекать статистику для того, чтобы сказать, что подавляющее большинство молодых семей сегодня не имеют такого дохода? Что же касается демографического критерия, то приведу одну лишь цифру: ежегодно в нашей стране разводится миллион супружеских пар. Немалая доля разводов приходится на молодежь. Думаю, нет надобности говорить о последствиях такого числа разводов — и для самих супругов, и для их детей.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ! НЕ ПОНИМАЮ...

А. Д. Значит, если я правильно понял, корень молодежных проблем в замедленности темпов социального

взросления, в неотлаженности механизма социализации?

В. Б. Таковы объективные причины. Но существуют и субъективные. Они то и обостряют подспудные процессы.

Отличительная, фундаментальная характеристика молодежи в том, что она включает людей, чье развитие, становление происходит активнее всего. Будучи вначале объектом воспитания со стороны общества, молодое поколение перерастает в активную социальную силу, приобретает черты субъекта исторического процесса. Задача всякого воспитания триединая — научить молодого человека, во-первых, добру (нравственность, совесть, сострадание), во-вторых, красоте (умение воспринимать мир целостно, художественный вкус, чувствительность), и в-третьих, истине (образование, знание, компетентность). Все эти три компонента реализуются у нас на очень низком уровне.

Особенность настоящего момента такова, что воздействие на молодежь, ее воспитание нуждаются в значительной корректировке.

Недавно мне довелось участвовать в анализе работы школ города Тольятти. В здании, рассчитанном на полторы тысячи учеников, занимаются четыре с половиной. Школа работает в три смены. Конечно, какие-то результаты таким образом достигаются. Но какие — вот в чем вопрос? Попросту говоря, у нас сложился конвейер по «производству» — причем очень низкого качества — людей со средним, а если честнее — посредственным образованием. Мы оказались в плену ложного представления, что выгоднее вкладывать средства прежде всего в производственную сферу. Что разумнее отгрохать новый цех и заставить его купленными на валюту оборудованием, чем подготовить специалистов, способных создать еще лучшее, более прогрессивное оборудование.

А. Д. Хочу подкрепить вашу мысль тем, что недавно услышал от первого заместителя председателя Советского фонда культуры Г. В. Мясникова. Выступая перед журналистами, он рассказал, что в свое время изучил пятилетние и годовые планы развития, которые составляются в

областных центрах. Его поразил тот факт, что в графах «образование» и «здравоохранение» почти всегда ставились мизерные суммы капиталовложений, а в графе «культура» стоял неизменный прочерк...

В. Б. В результате мы теряли в духовной и в материальной областях. Разве не парадоксально, что, вкладывая все средства в материальное производство, мы столкнулись с необходимостью вводить госприемку? С одной стороны — товары перестали быть конкурентоспособными, с другой — люди, производящие их, перестали быть компетентными и ответственными. Тем самым мы доказали, что «некачественные» люди не способны производить качественные товары.

Распространению бездуховности в молодежной среде, о чем сегодня много говорят, способствовало и то, что мы утратили веками складывавшиеся традиции комплексного воспитания, подменив их методиками и инструкциями. Ведь ни одна методика не в состоянии охватить все проявления жизни и все нюансы ее восприятия ребенком. Это способна сделать традиция. Возьмите японцев, которые с нежностью лелеют традиции в эстетическом и этическом воспитании мира. Ребенка уже с первых лет жизни приучают любоваться Лунной, цветами, камнем, учат его воспринимать мир целостно, понимать свое место в мире природы, в мире людей. Эстетическое и нравственное здесь как бы слиты. Ребенку, получившему с детства понятия красоты и добра, в дальнейшем не нужны никакие указатели, не нужна палка или, образно говоря, моральная госприемка. Совесть, порядочность, стремление выполнять порученное дело добротой заложены в нем как бы изначально. Поэтому японцы славятся не только искусством, но и вообще отношением к труду.

А мы? Называем себя страной освобожденного труда и не замечаем, что труд у нас во многом обесценен. Достоевский говорил о том, что нет для человека более тяжкого наказания, чем заставить его делать бессмысленную работу. А разве мы не продельваем это ежедневно в школах, заставляя детей выполнять

рутинную, подчас ненужную работу? Мы приучаем их связывать с трудом отрицательные эмоции, не умея его элементарно организовать. А когда молодой человек становится работником, начинаем его лихорадочно призывать к добросовестности и дисциплине труда. А он не понимает, чего от него хотят. У него атрофирована та часть души, в которой заложено стремление реализоваться через труд.

А. Д. Думаю, что придание труду смысла — задача общегосударственная. Вот нехитрый пример, взятый из отчета ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития СССР в первом квартале 1987 года, опубликованного в центральной прессе. Здесь есть, на мой взгляд, замечательные цифры. В графе «Произведено в I квартале 1987 года» напротив строки «Обувь» стоит: 209 миллионов пар, напротив строки «Трикотажные изделия» стоит: 460 миллионов штук. Выходит, у нас в стране производится более 800 миллионов пар обуви и около двух миллиардов штук трикотажных изделий в год. Носи — не хочу! В то же время все мы знаем, что купить добротную обувь или модное трикотажное изделие отечественного производства почти невозможно. Качественных товаров производится очень мало. Значит, вся эта прорва сапог и сандалий, свитеров и джемперов — либо брак, либо вчерашний день по качеству.

В. Б. И в такой ситуации, понятно, идеал труда, жизни на честно заработанные деньги уступает перед идеалом легкой красивой жизни — без каких бы то ни было забот. Тем более, что молодой человек видит, как сплошь и рядом честный человек, трудяга живет хуже, чем нечестный. И в его неустоявшейся душе может возникнуть сомнение: а так ли уж важно жить трудом? Вот откуда возникает идеал спекулянта, фарцовщика в молодежной среде.

Вывод может быть таким: до тех пор, пока мы неотрегулируем хозяйственный механизм, отношения труда и потребления, до тех пор, пока мы не создадим условия, при которых честный, добросовестный труд будет единственно выгодным, представление о труде у многих лю-

дей, в том числе у молодежи, будет оставаться искаженным.

МАРШИРОВАТЬ — ОТКАЗЫВАЮСЬ!

А. Д. Если я вас правильно понял, вы сторонник взгляда, что состояние нашего воспитания, образования можно описать словом «недо». И в самом деле довольно часто приходится слышать в адрес молодежи обвинения в недовоспитанности, в недообразованности, в недоинтеллигентности и т. д. Значит, молодой человек настолько «недо», насколько недодало ему общество? Но не умаляем ли мы такой постановкой вопроса ответственность молодого человека за свою судьбу, за судьбу страны, не сбрасываем ли со счетов инициативу, творческий потенциал молодых?

В. Б. Ваш вопрос я бы переформулировал так: на что сегодня способна молодежь в активно-личностном плане, как субъект исторического процесса? И как к этим возможностям молодых относится общество? С сожалением должен констатировать, что худшее уже произошло: мы и не заметили, как сбросили со счетов инициативу и творчество молодых. До недавнего времени наше общество было мало заинтересовано в творческой, думающей личности. У него скорее сформировалась потребность в выпуске с конвейера эдакого стандартного одномерного исполнителя, с бюрократизированным сознанием, с психологией функционера.

Вспомним годы революции, двадцатые годы — тогда в восемнадцать становились командирами дивизий, в двадцать пять — руководителями крупнейших заводов, в тридцать — командирами целых отраслей хозяйства. Сегодня мы почти не знаем примеров, когда на гребень социальной волны возносится человек моложе сорока лет. Но намечалась уже и противоположная тенденция. Поступил социальный заказ на личность думающую, творческую, нестандартную. Только она способна двигать дело перестройки нашего общества. Но я должен оговориться: такая тенденция только намечалась. И ее реализация не застрахована от перегибов и ошибок, следст-

вием которых могут стать сломанные судьбы. Ведь нестандартная, инициативная личность, за приход которой мы ратуем, не станет выполнять приказы, которые ей покажутся сомнительными, не будет выполнять команды бездумно, словом — откажется маршировать. Консерватору, бюрократу такие люди никогда не были по душе.

Отстранение молодежи от активного социального процесса способствовало торможению нашего общества. В молодежной сфере действовал тот же объективный механизм торможения, что и в других областях.

Многие специалисты, в частности профессор МГУ Г. Х. Попов, склоняются к тому выводу, что главным стержнем этого механизма является административная система управления экономикой, культурой, наукой, другими сферами общественной жизни, которая сложилась у нас за последние десятилетия. Попросту говоря, нормальные экономические, профессиональные, творческие отношения сплошь и рядом подменялись и кое-где продолжают подменяться отношениями чисто бюрократическими: начальник приказал — подчиненный взял под козырек.

На грубое администрирование, на отрыв слова от дела, на ложь, неискренность, на распространявшиеся мифы о том, что проблем у нас нет никаких, — молодежь реагировала довольно своеобразно — она создавала свои собственные мифы. Хотя ничего странного в этом нет. Клин, как говорится, клином вышибают. «Потерянные», отчужденные молодые люди (а в данном случае я имею в виду именно их) протестуют, противодействуют общественным институтам, как бы передразнивая, пересмеивая, переиначивая официальные или общепринятые нормы, которые в их глазах посрамили себя, скомпрометировали. Вот откуда вызывающие, эпатирующие прически и костюмы, музыка и танцы тех же металлистов, рокеров, любителей панков и так далее. Заслуга Ю. Подниекса, снявшего фильм «Легко ли быть молодым?», в том, что он сумел показать: эти ребята — никакие не антиобщественные элементы, а никому не нужные, заброшенные сердца.

А. Д. Раз мы называем определенную часть молодого поколения «по-

терянным», то возникает вопрос: почему общество оказывается растерянным перед этим явлением? Ведь мы уже пережили такие молодежные течения, как хиппи, стиляги... Неужто ничему не научились?

В. Д. Растерянность проистекает от незнания. Об этом я уже говорил. Современная ситуация отличается от ситуации прежних лет еще и тем, что теперешние явления в молодежной среде трудно поддаются анализу, объяснению. Современные движения молодежи «диско» — как иногда называют нынешнее поколение — отличаются крайней путаностью, синкретичностью, эклектичностью взглядов и установок. Пусть хиппи и битники, стремясь утверждать гуманистические идеалы, внося вклад в борьбу за мир, в то же время породили отрицательные явления в молодежной среде, например наркоманию, — но ни брейкеры, ни металлисты не несут большой гуманистической идеи, не стремятся изменять окружающий их мир. Они лишь демонстрируют свое неприятие отдельных сторон жизни. В целом их протест пассивен. Вероятно, это не больше чем демонстрация, театр, эпатаж обывателя. Они в конечном счете ничего не хотят и ни на что не нацелены. Это вся та же инфантильность непослушных недорослей, разыгрывающих из себя «дрянных» мальчишек и девчонок. Их максимализм и неконформизм — мыльный пузырь. Скорее всего — это своеобразное проявление конформизма. Главная их беда — отсутствие идеала.

Осложняет анализ этих явлений и то, что мы не хотим видеть в них попытки создать свою, неофициальную, неформальную культуру или контркультуру. Обычно мы говорим, что контркультура — это явление только буржуазного общества. Ничего подобного. Неудовлетворенность официальными, институциональными формами культуры существовала во все времена.

Своеобразие контркультуры в современном обществе обуславливается наличием массовых каналов информации — как официальных, так и неофициальных. Скажем, застой в советской эстраде породил в свое время феномен так называемой кассетной музыки, то есть музыки,

исполняемой самодетельными артистами и распространяемой по неофициальным каналам — с помощью перезаписи на магнитофоны. Среди других каналов неофициальной культуры можно назвать видео, рукописные журналы, фото и так далее. По мере того как официальная, скажем так, культура все меньше и меньше отражала реальные жизненные коллизии, молодежь все больше тяготела к неофициальным каналам. Это сказалось и на общем падении культурного уровня молодежи. Последние социологические опросы показывают, что многие москвичи в возрасте восемнадцати лет более пяти лет не были в театре, кино, музее, не читают книг.

А. Д. Плохие журналисты обычно, рассуждая о том или ином негативном факте в молодежной среде, делают вывод: всему виной плохая работа комсомола — комсомол не организовал, комсомол не сумел... А я бы сказал иначе: комсомол чересчур заорганизовал. В предшествовавших XX съезду комсомола дискуссиях прозвучал и такой тезис: необходимо пересмотреть монополию комсомола на работу с молодежью, надо отправить в архив учебники по комсомольскому строительству, в корне перестроить структуру комсомола, утвердить повсеместно в организациях демократию. Но судя по последним публикациям в комсомольской прессе, в комсомоле мало кто знает, что такое демократия на деле, как ее проводить в жизнь. И мне думается, что в комсомоле, как и в других общественных сферах, пока что утверждается, по меткому замечанию профессора Б. А. Грушина, «вербальная», «ярмарочная» демократия, а не демократия как таковая.

В. Б. Монополизм комсомола, о котором вы говорите, имеет место, поскольку для этого в предыдущие годы было сделано все. Членство в комсомоле стало чуть ли не обязательным для молодого человека. Однако монополизм этот в значительной степени мнимый. Ведь одно какое-то ведомство, организация не в состоянии охватить все. Река жизни обходит ведомственные бастионы, пробивая свое русло. Лишь только молодежь окончательно заорганизовали, тут же она стала искать воз-

можности для неформального общения, досуга, деятельности. Функцию организатора молодежи в современных условиях комсомол должен реализовать не как встарь, дожидаясь каждого комсомольца формальным поручением, а по-новому. Главное теперь — поддержка инициативы, консультация, своеобразное посредничество между молодежью и общественными организациями. И тогда исчезнет стереотипное представление о комсомольской работе как об обязательке, и тогда в ней действительно появится обязательность. А пока я вынужден констатировать, что отчуждение, о котором мы говорили, захватило и часть комсомольских работников. Бюрократ, чиновник от комсомола тоже потерянный, отчужденный, хоть он наверняка с этим и не согласится. Но мы-то понимаем, что жизнь, состоящая из заседаний, из перекладывания бумаг лишена смысла, лишена подлинности. И стоит ли удивляться, читая в комсомольской прессе о том, что в определенной ситуации панк, комсомольский функционер, отличный ученик, фарцовщик оказывается одним и тем же человеком. В известном смысле у панка, выраженного в пестрые карнавальные одежды, немало общего с комсомольским бюрократом, который приходит ежедневно на службу в костюме-тройке с неизменным комсомольским значком на лацкане пиджака. Отличие между ними лишь в том, что они исполняют разные ритуалы...

А. Д. Что ж, многообразны проявления отчуждения в молодежной среде, как многообразны проблемы, доставшиеся нам в наследство от времен застоя. И все же мне представляется, что молодежь — та сила, которая только и в состоянии привести нашу жизнь в движение.

В. Б. Накала и энергии молодым не занимать. И мы все больше и больше узнаем о фактах, когда именно молодежь проявляет принципиальность и гражданственность, бесстрашно, с открытым забралом выступает против бюрократа, чиновника, против бездуховности и бесхозяйственности. Молодые доказали свое право на ответственность, на доверие, на реальный вклад в перестройку. Надо им только помочь.

Никита ЗАБОЛОЦКИЙ

ОБ ОТЦЕ

В 1937 году в творческой биографии Николая Алексеевича Заболоцкого обозначились обнадеживающие приметы. После погрома первой книжки стихотворений «Столбцы» и поэмы «Торжество земледелия», после резкой критики на дискуссии о формализме, после нескольких лет замалчивания стихотворения поэта снова стали появляться в печати, получили популярность его обработки для детей, переводы. В тот год вышла из печати его «Вторая книга», содержащая семнадцать стихотворений, отражающих уже новое направление его творчества. Вышло отдельное, роскошно оформленное издание его обработки для юношества поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Определелись творческие планы на предстоящий год: «Буду надеяться, что к концу будущего года переиздам книжку (своих стихов. — Н. З.) в более цельном виде. На будущий год у меня большая работа: нужно переложить на русские стихи «Слово о полку Игореве» — работа интересная и ответственная. Кроме того, думаю заняться переводом Важа Пшавела и своими стихами» (из письма от 12 ноября 1937 г.).

Осенью Николай Алексеевич около месяца лечился в санатории в Сочи, в конце ноября ездил в Махачкалу на похороны Сулеймана Стальского, затем в Тбилиси участвовал в работе пленума Союза писателей, посвященного 750-летию юбилею поэмы Руставели. Вернувшись в Ленинград, он приступил к работе, которую давно уже вына-

шивал в своих помыслах, — к поэтическому переложению «Слова о полку Игореве» и одновременно к собственной поэме «Осада Козельска» — о разрушении этого города во время нашествия Батыя и о последующем возрождении Русской земли. В марте 1938 года он продолжает эту работу, живя под Ленинградом в Доме творчества писателей в Елизаветине.

В те месяцы атмосфера в городе была тревожной. При встрече писателей, да и не только писателей, все чаще звучало зловещее слово «взяли». Приносили его шепотом, нервно оглядываясь по сторонам, с затаенным страхом в глазах. Заболоцкому казалось, что эти страхи к нему не могут иметь отношения — нужно добросовестно делать свое дело и, глядишь, все обойдется. Но он ошибался — его очередь была уже совсем близко. И вот мы читаем трагическое повествование поэта: «Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года...».

Ровно полвека прошло с того страшного дня, который положил начало событиям, резко изменившим жизнь Заболоцкого и оставившим глубокий, так до конца и не заживший след в его душе. Он не любил рассказывать о своих злоключениях в тюрьме и исправительно-трудовых лагерях. И лишь в 1956 году, после XX съезда партии, написал представленный здесь краткий автобиографический очерк «История моего заключения», намереваясь продолжить его описанием жизни в лагерях. Во всяком случае он перечитал

тогда свои письма из заключения к жене и детям и сделал из них выписки, озаглавленные «Сто писем 1938—1944 годов». Однако эта работа осталась незавершенной.

После того как в 1938 году Н. А. Заболоцкий был приговорен постановлением Особого совещания (то есть без суда) к пяти годам лишения свободы, он долго не мог примириться с незаслуженными тяжелыми испытаниями. Уже из лагеря писал он письма и заявления в разные инстанции, протестовал против несправедливого приговора. Самоотверженно действовали и его друзья. Одним из первых выступил в защиту репрессированного поэта профессор-литературовед В. А. Десницкий, направивший письмо И. В. Сталину, которого хорошо знал еще по подпольной партийной работе в дореволюционное время. Летом 1938 года Николаю Алексеевичу удалось переслать жене Екатерине Васильевне свое заявление на имя генерального прокурора СССР, которое секретарь Союза писателей А. А. Фадеев лично передал по назначению. В этом заявлении Заболоцкий, в частности, писал о своих отношениях с Бенедиктом Лившицем и Еленой Тагер, которые упоминаются в «Истории моего заключения»: «С писателями Лившицем и Тагер я имел хотя и поверхностное знакомство по Союзу советских писателей, тем не менее считал их честными и порядочными людьми. Мне не известно, какие чрезвычайные причины заставили этих писателей дать обо мне клеветнические показания...» Николай Алексеевич считал, что такие показания либо были получены под пытками, либо их и вовсе не существовало. В прокуратуру были направлены материалы, свидетельствующие об абсурдности обвинений, выдвинутых против Заболоцкого, в частности письма писателей П. Г. Антокольского, Н. Н. Асеева, А. И. Гнотовича, М. М. Зощенко, В. А. Каверина, Н. С. Тихонова. Деятельное участие в хлопотах приняла жена поэта, Н. Л. Степанов, В. Б. Шкловский, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц. В результате их общих усилий дело Заболоцкого было назначено к пересмотру и направлено на следствие в Ленинградскую областную прокуратуру.



Н. А. Заболоцкий

Ленинградское отделение Союза писателей образовало специальную комиссию в составе И. А. Груздева, Ф. С. Князева, М. Л. Лозинского, Л. Н. Рахманова, Н. Л. Степанова, которые направили в прокуратуру характеристику Заболоцкого, заканчивающуюся словами: «Работа Заболоцкого в советской литературе, протекавшая на глазах у литературной общественности Ленинграда, его творческая деятельность, его участие в общественной жизни Союза писателей, его облик как человека и гражданина не давали никаких оснований для сомнений в том, что он является подлинным советским писателем, прямым и искренним человеком, заслуживающим уважения всех знавших его».

Впрочем, все хлопоты друзей оказались безрезультатными... Но все-таки важно сейчас отметить: несмотря на атмосферу всеобщей подозрительности, страха, доносов, жестокости, во многих людях еще жива была потребность отстаивать справедливость. Были еще честные, бесстрашные люди, для которых

гражданская справедливость и подлинная поэзия оказались важнее страха перед возможным наказанием за выступления в защиту «врага народа».

В то же время выяснилось, что обвинение Заболоцкого основывалось на тенденциозных критических статьях о его первой книжке стихотворений «Столбцы» и поэме «Торжество земледелия». Решающую роль в обвинении сыграла рецензия или попросту литературный донос литератора Н. В. Лесючевского, написанный для следственных органов. Позднее, уже в начале 60-х годов, о роли этой субъективной оценки творчества поэта говорил И. Г. Эренбург. По свидетельству магаданского журналиста А. С. Сандлера, Илья Григорьевич сказал, что в деле Заболоцкого «главное было в том, какую интерпретацию его стихам дал Лесючевский. И когда нас (то есть Эренбурга и других писателей. — Н. З.) спрашивали по этому делу, все писатели и поэты отвергли трактовку произведений Заболоцкого в том ключе, которым пользовался Лесючевский, он оказался единственным, кто не захотел изменить своего мнения» (Асар Сандлер. Узелки на память. — Литературно-художественный альманах «На Севере дальнем». Магаданское книжное издательство, 1987 г., стр. 112).

«История моего заключения» заканчивается прибытием в феврале 1939 года в Комсомольск-на-Амуре. В районе этого города в системе

Востлага НКВД Заболоцкий пробыл до мая 1943 года. За это время менялись и характер работы, и условия жизни и «зоны». Работал он и на лесоповале, и в карьере, и на строительствах железных дорог, нефтепровода. Впоследствии Николай Алексеевич не раз говорил, что он не вынес бы общих лагерных работ, если бы счастливый случай не привел его в проектное бюро на должность чертежника. С мая 1943 года он работал в системе Алтайлага в Кулундинских степях. Здесь на тяжелой работе по добыче соды на одном из содовых озер Алтая на всю жизнь подорвал здоровье своего сердца. После лазарета Заболоцкий снова был назначен на чертежную работу. 18 августа 1944 года он был освобожден из-под стражи и оставлен на работе в лагере. В ноябре к нему в Алтайский край приехала его семья — жена и двое детей. В марте 1945 года вместе с управлением лагеря Николай Алексеевич с семьей был переведен в Караганду. Здесь в свободное от основной службы время он фактически заново сделал поэтическое переложение «Слова о полку Игореве». В первые дни 1946 года он был вызван в Москву, где в результате хлопот друзей и официального ходатайства Н. С. Тихонова и А. А. Фадеева был восстановлен в Союзе писателей и получил право жить в столице. Реабилитирован он был уже посмертно — в 1963 году, по заявлению жены...

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в союз по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко. Один

из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — ска-

зал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попросился с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привезли в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном проспекте. Обыскивали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос.

Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся главным образом в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

— Действие Конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь.

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснилось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется Борис Корнилов, кто-то еще и наконец я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. М. Олейникове, Т. И. Табидзе, Д. И. Хармсе и А. И. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 году. Зачитывались избобличающие меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном по-

лу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъярялся следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но, помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удается сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплится во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар — в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показавшись, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втащили меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или по крайней мере не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся насколько мог и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы

справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности — настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянии и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый как камень. Затем как сквозь сон помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделении.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплится во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова

делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаяния, я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи, если и не очень лечили, то по крайней мере не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но толкнули в одну из больших общих камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12—15 комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70—80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние несло из нее в коридор, и я помню, как они пораз-

зили меня. Дверь с трудом закрывалась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новиком — писателем, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодский, арестованных ранее меня. Увидев меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

2

Большинство свободных людей отличаются от несвободных общими характерными для них признаками. Они достаточно уверены в себе, в той или иной мере обладают чувством собственного достоинства, спокойно и разумно реагируют на внешние раздражения... В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, напуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попадал, — чаще всего терял особенность, присущие ему на свободе. Как пойманный в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза. Через несколько дней тюремной обработки черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведенная на него, начинала пускать свои корни в его смятенную и дрожащую душу.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растления людей только лишь начинался. Здесь можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного истерического веселья и цинического наплеательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь.

Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь кажим-то гвоздем и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий свое человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были совсем маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду, только не в том смысле, как этого хотели Заковский и его начальство.

Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать, — плакал при всех, и чувство естественного стыда удесятеряло его муки. Тот, кто хотел покончить с собой, — ночью, под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу и товарищи обезоруживали его. Эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогла многим перенести их невыносимые мучения.

Камера, куда я попал, была подобна огромному, вечно жужжавшему муравейнику, где люди целый день топтались друг подле друга, дышали чужими испарениями, ходили, перешагивая через лежащие тела, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Уголовники здесь были смешаны с политическими, но в

1937—1938 годах политических было в десять раз больше, чем уголовных, и потому в тюрьме уголовники держались робко и неуверенно. Они были нашими владыками в лагерях, в тюрьме же были едва заметны. Во главе камеры стоял выборный староста по фамилии Гетман. От него зависел распорядок нашей жизни. Он сообразно тюремному стажу распределял места — где кому спать и сидеть, он распределял довольствие и наблюдал за порядком. Большая слаженность и дисциплина требовались для того, чтобы всем устроиться на ночь. Места было столько, что люди могли лечь только на бок, вплотную прижавшись друг к другу, да и то не все враз, но в две очереди. Устройство на ночь происходило по команде старосты, и это было удивительное зрелище соразмерных, точно рассчитанных движений и перемещений, выработанных многими «поколениями» заключенных, принужденных жить в одной тесно спрессованной толпе и постепенно передающих новичкам свои навыки.

Днем камера жила вялой и скучной жизнью. Каждое пустяковое житейское дело: пришить пуговицу, починить разорванное платье, сходить в уборную, — выросло здесь в целую проблему. Так, для того чтобы сходить в уборную, нужно было отстоять в очереди не менее чем полчаса. Оживление в дневной распорядок вносили только завтрак, обед и ужин. В ДПЗ кормили сносно, заключенные не голодали. Другим развлечением были обыски. Обыски устраивались регулярно и носили унижительный характер. Цели своей они достигали только отчасти, так как любой заключенный знает десятки способов, как уберечь свою иголку, огрызок карандаша или самое большое свое сокровище — перочинный ножичек или лезвие от самобрейки. На допросы в течение дня заключенных почти не вызывали.

Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда

выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими воплями избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишваемое, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени.

От времени до времени брали на допрос того или другого заключенного. Процесс вызова был таков.

— Иванов! — кричал, подходя к решетке двери, тюремный служащий.

— Василий Петрович! — должен был ответить заключенный, называя свое имя-отчество.

— К следователю!

Заключенного выводили из камеры, обыскивали и вели коридорами в здание НКВД. На всех коридорах были устроены деревянные, наглухо закрывающиеся будки, нечто вроде шкафов или телефонных будок. Во избежание встреч с другими арестованными, которые показывались в конце коридора, заключенного обычно вталкивали в одну из таких будок, где он должен был ждать, пока востраченного уведут дальше.

По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации и они падали на наши руки; других же почти вносили и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая холодные компрессы и отпаивая их водой. Впрочем, нередко бывало и так, что тюремщик приходил лишь с вещами заключенного, а сам заключенный, вызванный на допрос, в камеру уже не возвращался.

Издательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть, попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Дав. Ис. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за борюду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, боль-

ного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садит ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды по дороге на допрос меня по ошибке толкнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в черном платье ударила следователя по лицу и тот схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать ее сапогами. Меня тотчас же выволокли из комнаты, и я слышал за спиной ее ужасные вопли.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесчеловечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избииении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газету, а он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою правоту. Тень догадки мелькала в головах наиболее здравомыслящих людей, а иные, очевидно, были недалеки от истинного понимания дела, но все они, затравленные и терроризованные, не имели смелости поделитьсь мыслями друг с другом, так как не без основания полагали, что в камере снуют соглядатаи и тайные осведомители, вольные и невольные. В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожить советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иными могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами, — мы, советские люди, воспитанные в духе преданности делу социализма? Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь наконец показала мне, в чем мы были правы и в чем заблуждались...

После возвращения из больницы меня оставили в покое и долгое

время к следователю не вызывали. Когда же допросы возобновились, — а их было еще несколько, — никто меня больше не бил, дело ограничивалось обычными угрозами и бранью. Я стоял на своем, следствие топталось на месте. Наконец в августе месяце я был вызван «с вещами» и переведен в Кресты.

Я помню этот жаркий день, когда одетый в драповое пальто, со свертком белья под мышкой я был приведен в маленькую камеру Крестов, рассчитанную на двух заключенных. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счету. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в Крестах.

В камере стояла одна железная койка и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен как ребенок.

В Крестах меня на допросы не вводили: следствие было, очевидно, закончено. Сразу и резко ухудшилось питание, и если бы мы не имели право прикупать продукты на собственные деньги, мы сидели бы полуголодом.

В начале октября мне было объявлено под расписку, что я приговорен Особым совещанием (то есть без суда) к пяти годам лагерей «за троцкистскую контрреволюционную деятельность». 5 октября я сообщил об этом жене, и мне было разрешено свидание с нею: предполагалась скорая отправка на этап.

Свидание состоялось в конце месяца. Жена держалась благоразумно, хотя ее с маленькими детьми уже высылали из города и моя участь была ей известна. Я получил от нее мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная увидимся ли еще когда-нибудь...

Этап тронулся 8 ноября, на другой день после отъезда моей семьи из Ленинграда. Везли нас в теплуш-

ках, под сильной охраной, и дня через два мы оказались в Свердловской пересыльной тюрьме, где просидели около месяца. С 5 декабря, дня Советской Конституции, начался наш великий сибирский этап — целая одиссея фантастических переживаний, о которой следует рассказать поподробнее.

Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там на крышах и площадках торчали пулеметы, было великое множество охраны, на останках выпускались собаки-овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завертывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул и сзади, наседая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

«Шаг в сторону — открываю огонь!» — было обычное предупреждение.

Впрочем за весь двухмесячный путь из вагона мы выходили только в Новосибирске, Иркутске и Чите. Нечего и говорить, что посторонних людей к нам не подпускали и за версту.

Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая сверху, на

высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жестоко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день кипятки и обед из жидкой «балабанды» и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек выдавался нерегулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водою. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наростшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

В том же вагоне я впервые столкнулся с миром уголовников, которые стали проклятием для нас, осужденных владеть свое существование рядом с ними, а зачастую и под их началом.

Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков, — народ особый, представляющий собою общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по своим собственным

законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. У них были свои вожаки, одно слово которых могло стоить жизни любому рядовому члену их касты. Все они были связаны между собой общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики. Исконные жители тюрем и лагерей, они искренно и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пеструю, сбитую с толка толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и подлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства.

Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития. Во имя своей морали почти все они были способны на необычайные, порой героические поступки; они без страха шли на смерть, ибо презрение товарищей было для них во сто раз страшнее любой смерти. Правда, в мое время наиболее крупные вожаки уголовного мира были уже уничтожены. О них ходили лишь легенды, и все уголовное население лагерей видело в этих легендах свой идеал и старалось жить по заветам своих героев. Крупных вожаков уже не было, но идеология их была жива и невредима,

Как-то само собой наш вагон распался на две части: 58-я статья поселилась на одних нарах, уголовники — на других. Обреченные на сосуществование, мы с затаенной враждой смотрели друг на друга, и лишь во времена эта вражда прорывалась наружу. Вспыхивали яростные ссоры, готовые всякую минуту перейти в побоище. Помню, как однажды, без всякого повода с моей стороны, замахнулся на меня полном один из наших уголовников, подверженный припадкам и каким-то молниеносным истерикам. Това-

рищи удержали его, и я остался невредимым. Однако атмосфера особой психической напряженности не проходила ни на миг и накладывала свой отпечаток на нашу вагонную жизнь.

От времени до времени в вагон являлось начальство с проверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счет. Как сейчас вижу эту картину: черные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползем друг за другом на четвереньках по доске, освещаемые тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведенными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудреной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогоущей толпой бесов и бесенят. О мытье нечего было и думать. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было.

Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледене-

лых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...

В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу, по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМа встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре.

Публикация Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

В представляемом впервые советскому читателю незавершенном очерке одного из самых выдающихся русских поэтов нашего века, в этой прозе, дышащей человеческим и литературным достоинством и благородством, названы имена писателей, погибших в сталинских застенках, — поэта Бенедикта Константиновича Лившица (1887—1938), детского писателя Георгия Осиповича Куклина (1903—1939), поэта Бориса Петровича Корнилова (1907—1938), поэта и детского писателя Николая Макаровича Олейникова (1895—1942), поэта Тициана Табидзе (1895—1937), поэта, прозаика, драматурга Даниила Ивановича Ювачева, писавшего под псевдонимом Д. Хармс (1906—1942), поэта и драматурга Александра Ивановича Введенского (1901—1941), литературоведа Павла Николаевича Медведева (1892—1938), литературоведа и переводчика Давида Исааковича Выгодского (1893—1943?), театроведа и переводчика Адриана Ивановича Пиотровского (1898—1938). Только поэтесса и прозаик

Елена Михайловна Тагер (1895—1964) пережила годы заключения. Что касается незаурядного переводчика Валентина Осиповича Стенича (1898—1938?), о страшном конце которого рассказано Заболоцким со слов других заключенных, то считаем уместным привести здесь как характерный документ эпохи два заявления, копии с которых были предоставлены редакции ныне покойной вдовой В. О. Стенича Л. Д. Стенич-Большинцовой:

Органами НКВД в Ленинграде, 16 ноября 1937 года был арестован гр. СТЕНИЧ-СМЕТАНИЧ ВАЛЕНТИН ОСИПОВИЧ, 1898 года рождения, уроженец Ленинграда, член СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

Согласно официальной справке он был осужден Военной Коллегией Верховного Суда к 10 годам дальних лагерей без права переписки и был выслан из Ленинграда 23 сентября 1938 года.

Мы знали гр. СТЕНИЧА-СМЕТАНИЧА в течение многих лет не только лично, но и как крупного советского литературного работника. СТЕНИЧ-СМЕТАНИЧ был одним из крупнейших советских переводчиков с иностранных языков, основателем целого направления в деле культуры перевода, автором и популяризатором переводов целого ряда писателей Европы и Америки, в том числе ряда крупнейших произведений писателей-антифашистов, с которыми советский читатель знакомился по его переводам. Кроме того, он много и плодотворно работал для советского театра не только как автор переводов, но и как автор оперных либретто.

Учитывая большую ценность работы СТЕНИЧА-СМЕТАНИЧА, некоторые переводы которого стали классическими образцами для нашей литературы и для всей советской культуры, мы просим Вас о содействии в деле скорейшего пересмотра дела СТЕНИЧА-СМЕТАНИЧА и о возможном смягчении его участи.

М. Зоценко, М. Блейман, С. Эйзенштейн, Н. Черкасов

Я знал Валентина Осиповича Стенича (Сметанича) с 1927 года.

В течение нескольких лет у меня с ним были короткие, дружеские отношения. Нас сблизила любовь к литературе, которую Сметанич превосходно знал.

Сметанич в совершенстве знает несколько иностранных языков — он несомненно был лучшим переводчиком. С его отличным вкусом считались многие наши литераторы. Его верные замечания и точная критика принесли немалую пользу советской литературе.

Сметанич человек высоко образованный, очень умный, честный и справедливый. На мой взгляд, он — выдающийся человек, человек, которого следует высоко ценить.

Сколько я знал его — никогда никакой контрреволюционной деятельности у него не было. И трудно представить, что это могло быть.

Было бы большой справедливостью пересмотреть его дело.

Было бы справедливо вернуть его к его работе. Я не сомневаюсь, что он был бы ценным и полезным членом среди советских литераторов.

25.IV.40
Мих. Зоценко
Ленинград, канал Грибоедова 9, кв. 122
Михаил Михайлович Зоценко

Присоединяюсь к отзыву Мих. Мих. Зоценко о писателе-переводчике Валентине Осиповиче Стениче (Сметаниче), которого я знаю также с 1927 года. Считаю нужным просить о пересмотре его дела.

Валентин Катаев

26 апреля 1940 года
Москва

Эти пять человек, которые нашли в себе мужество поставить свои подписи, не знали, что человека, за которого они просили, уже не было в живых...

«ОДНА НЕПРАВДА НАМ В УБЫТОК ...»

Картина, фрагмент которой читатель видит на первой обложке и которая целиком репродуцирована на цветной вкладке, принадлежит кисти рижанина Альберта Голтякова. Она была выставлена на недавней экспозиции «Осень-87», развернутой в выставочном зале «Латвия».

Среди прочих работ именно эта вызвала наибольшие споры и суждения среди тех, кто посетил осенний вернисаж. Как это было несколько лет назад, когда Илья Глазунов выставил в Манеже свою коллажную картину «20-й век».

Публикуя в этом номере журнала несколько репродукций с «Осени-87» и желая передать атмосферу не только работ, но и зала, мы решили как бы продолжить зрительский спор, вызванный картиной А. Голтякова. Перед тем как дать несколько мнений о ней, заметим только, что выставка была закрыта и развезена по запасникам как раз тогда, когда публика только разговаривалась, что странно. Как справедливо сказал один из посетителей, пришедший на вернисаж повторно и заставший развоз, коротка была «Осень-87». И что будет за этой осенью — «Зима тревоги нашей» или «Весна» Боттичелли?

* * *

* * *

Полотно А. Голтякова «Эпитафия-посвящение невинно осужденным во время сталинского культа» вызывает повышенный интерес. Да, тема, ранее находившаяся в «черном списке», свидетельствует о расширившихся рамках гласности. Но увы, хочу высказать опасение, что обращение к «запретной тематике» у многих художников — в большей степени дань моде, чем правдивый, эмоционально убедительный рассказ о трагических событиях в истории нашей страны. Мне почему-то трудно поверить автору, искренности его сочувствия. Настораживает именно эта оперативность, «читаемость» содержания. Нужно обладать поистине высоким мастерством, чтобы многоплановую образность киносериала вместить в один живописный кадр — картину. Как это произведение может соперничать хотя бы с кинофильмом «Покаяние»?

Ирена БУЖИНСКАЯ,
искусствовед

Картина Альберта Голтякова «Эпитафия-посвящение невинно осужденным во время сталинского культа» — один из видов жанра аллегории. Этот жанр вечен, как вечны живопись и искусство вообще. Он смыкается с политическим памфлетом. Картина Голтякова находится на стыке этих двух жанров живописи. Это иносказательный, обобщенный образ культа личности, который требует активного рассмотрения и в то же время позволяет разные толкования. Последние не всегда могут совпасть с замыслом автора. Альберт Голтяков в жанре аллегории работает не впервые. У него были картины, направленные против пьянства, посвященные утверждению Советской власти. На мой взгляд, последняя картина по живописным качествам лучше предыдущих. Здесь совпала позиция автора с его живописными возможностями.

Индулис ЗАРИНЬ,
народный художник Латвийской ССР

* * *

Прежде всего: свое впечатление об этой картине я хотел бы передать не с позиций потенциального «врага народа» по меркам ГОЙ эпохи, а с позиций сегодняшнего зрителя и только.

Картина безусловно полезная... Для меня она — некий «культурный ген» и, как обычный ген, содержащий информацию, необходимую для синтеза определенного белка, так и этот, «культурный», содержит в себе информацию, вызывающую определенные ассоциации.

Что касается ассоциаций, то их достаточно, чтобы написать книгу. Не знаю, как остальные, а я, родившийся в пятьдесят шестом и не потерявший родственников ни в «тылу», ни на фронте (хотя брат бабушки отсидел-таки свою десятку за «шпионаж в пользу фашистской Латвии»), могу сказать не кривя душой, и меня поймут если не те, кто сидел и сажал в тридцатые-пятидесятые, то хотя бы мои сверстники, — Я ТАКАЯ ЖЕ ЖЕРТВА КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ, КАК И ОНИ. То есть я стою перед картиной Голтыкова со своим багажом, со своим комплексом.

«Мы будем петь и смеяться, как дети» — пели настоящие развеселые киногерои тех лет. Время для настоящего веселья еще не пришло, однако настала пора повзрослеть. Повзрослеть до понимания того, что же все-таки случилось со страной. Вот с этими мыслями я рассматриваю картину.

Я хотел высказаться только как зритель... Как видите, это не удалось. И живой, лишь вставленный в ненадежную рамку усмехающийся тиран тому виной.

Алексей ИВЛЕВ, поэт

* * *

Один из влиятельных придворных при Екатерине, Нарышкин высказал в свое время резкую мысль: Запад постоянно будет удивляться нашему могуществу и нашим бедам, но я, русский, не могу понять, каким образом до сих пор мы не погибли под развалинами собственных ошибок.

Культ личности Сталина — роко-

вая ошибка, больная совесть нашей истории. События тех лет запечатлелись во мне горькой памятью. В 36 году был арестован отец. Нас с матерью выселяли из квартиры. Это было время массовых арестов. По главной улице города то и дело сновала автомашина, которую в народе называли «черным вороном». Антагонизм к режиму Сталина и его личности существовал не только у взрослых, но и у нас, подростков, лишенных родителей. В силу объективных причин, порожденных рабским страхом, он не мог найти выхода в полной мере. О подобных вещах не принято было говорить между людьми. Но это чувствовалось в отчуждении и молчаливой покорности происходящему. Молчали все. Те, у кого арестовали отцов, были лишены «счастливого детства» в нашей «прекрасной, свободной стране». Атмосфера лжи, лицемерия, доносов, предательства (похожая на эпоху инквизиции средних веков) расцветивалась ежедневным прославлением (по трансляции) «отца родного», а на всех собраниях (даже в домоуправлениях) выборами почетного президиума во главе с «дорогим и любимым вождем». Вся эта фантазмагория выглядела сплошным фарсом, кошмаром. Вальпургиева ночь среди бела дня. И надо всем этим как символ — неограниченная власть монарха! Когда началась Отечественная война, брат отца говорил нам, юношам, уходящим в армию: «Идите воевать, ребята, воевать за Родину, но не за Сталина».

Первая попытка высказать свое отношение к феномену культа была сделана мною в 1967 г., когда на выставке, посвященной 50-летию Октября, я показал серию «Кадры истории», где один лист назывался — «год 37-й». Тогда повеяло свежим ветром и казалось, что теперь «можно будет говорить». Но вскоре наступил долгий период застоя. Однако эта тема настолько завладела мною, что я продолжал работать над вариантами сюжетов, как говорят, в стол. Окончательный вариант «Эпитафии» (с некоторыми изменениями в процессе работы над картиной) был завершен 10 лет назад. В современном антиинтеллектуальном искусстве вообще, а

в станковой, тематической картине в частности, главное — содержание, сущность изображаемого, внутренний импульс. Можно отдавать предпочтение эмоциональному восприятию произведения искусства, но при этом нельзя игнорировать понятийный фактор в станковой тематической картине, когда эстетическая эмоция опосредуется мыслью, радостью понимания. Образность, многоплановая ассоциативность в изображении отвлеченных понятий являются необходимыми составляющими при решении сложных, глобальных проблем действительности. При этом большую роль играет применение эффекта отражения, метафора, типологизация. В своей основе картина по замыслу должна была нести публицистическую направленность и содержать в себе информативное начало, облеченное в иносказательную форму. Это — анализ проблемы и предъявляемых жизнью фактов. Факты, как говорят, упрямая вещь. Теперь мы знаем, что цель не оправдывает средства, что были извращены многие ленинские установки на построение нового общества, что была нарушена демократия. Были уничтожены блестящие умы: партийные работники, интеллигенция, руководящие военные кадры; репрессированы бесчислен-

ные массы рабочих, крестьян, негласных с внутренней политикой в стране. Поэтому ничто не может являться оправданием преступлений, совершенных Сталиным и его «верными соратниками». Если он и влез в золотую раму, то только как преступник, маньяк и настоящий враг народа, не имеющий аналогов в мировой истории.

«Но все, что было, не забыто.
Не шито-крыто на миру.
Одна неправда нам в убыток
И только правда ко двору».

Тирану не может быть забвения, которое горит кровавым пламенем скорби и рыданий загубленных жизней честных людей. Они все достойны народного памятника, прославляющего их в веках в назидание и на вечную память грядущим поколениям.

«Не жизни жаль с томительным
дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того
огня,
Что просиял над целым
мирозданьем
И в ночь идет, и плачет уходя».

Альберт ГОЛТЯКОВ,
художник, автор.

* * *

По своему замыслу полотно Голтыкова глубоко исторично. Фигура Сталина справа внизу четко отождествляется с фигурой Ивана Грозного слева вверху — оба в одинаковых позах, левая рука на колене, правая поднята вверх и держит посох у Грозного и перевернутую газету у Сталина. Это задает, так сказать, основную смысловую симметрию — образ диктатора вообще и тирана в русской истории в первую очередь. Важная деталь — шашечки на полу — несомненная отсылка к картине Н. Ге «Царь Петр допрашивает царевича Алексея» — актуализирует тему ареста и убийства политических противников из числа самых близких людей и замыкается еще одной ассоциацией — с картиной И. Репина

«Иван Грозный и его сын Иван». Тема убийства детей еще более важна в том плане, что известен закон, действовавший в сталинское время, по которому к юридической ответственности привлекались лица с 14 лет, а именно таким был возраст детей политических противников Сталина. Отсюда прочная ассоциация Сталина с «Тараканищем» К. Чуковского:

Принесите-ка мне, звери, ваших
детушек.

Я сегодня их за ужином скушаю
(эта переключка подсказана мне моим
коллегой М. Безродным).

Параллелизм Грозный — Сталин подключает ключевую для картины тему оборотничества. Царь держит в поднятой руке посох — орудие

убийства сына — Сталин держит в руке газету с перевернутым заглавием. Перевернутая правда — это не-правда, кривда, ложь.

Ложь — основное орудие убийства для любого диктатора. Растленное, девальвированное, лживое слово, которым он закрывается от настоящей **правды** и которое несет настоящую **о п р и ч и н у** (вот узел пересечения с Грозным). Опричина от «опричь», то есть «не так», «шиворот-навыворот» (правда становится ложью). В широком значении это слово может быть обозначением сталинской эпохи. Тема пресловутой «прогрессивности» исторического насилия «Грозный — Петр — Сталин» дана в философски-двойственном ключе: окно рядом с топором, то есть **окно, прорубленное в Европу**, становится вместе с тем и тюремным окном, а пожарные инструменты на кровавом фоне заставляют вспомнить еще одного диктатора — Нерона.

И наконец центральный мотив отчужденной головы имеет и мифологические реминисценции — расчленение тела престарелого жреца-царя, и литературные — голова булгаков-

ского Берлиоза, фаршированная голова градоначальника Брудастого (Органчика) из «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Смысл этого мотива в том, что тирани — не тот, кто «дергает за ниточку», он сам марионетка, мираж, портрет в просвечивающей насквозь рамке, которого история сметает как ненужную игрушку.

— — — — —

Поколение пишущего эти строки (1958 г. р.), входящее в культуру на десять лет позже, чем могло бы, не было влюблено в Сталина, подобно поколению наших отцов, родившихся в 1925 г., и потому не было так отравлено им. У нас был свой Органчик, мы выросли в атмосфере казенщины и пустоты — нашим единственным убежищем был социальный редуционизм и эгоцентризм. Слово «покаяние» нам чуждо, нам не в чем каяться и не перед кем. Однако пафос **социальной ответственности** за происходящее в культуре, которая вдруг приоткрыла нам свои двери, делает «Эпитафию» Голтыкова своего рода социальным и культурным символом и воплощением надежды.

Вадим РУДНЕВ, литератор

Ольга НИКОЛАЕВА



1. «И НИЧЕГО СО МНОЙ НЕ ПРОИСХОДИТ...»

Стихи — как мультфильмы, где быстро проходят и сменяются слова. И ты, из какой-то точки внутри себя, наблюдаешь эти легкие перевоплощения, эти беглые самоописания: «водородную качаюсь...», «на лесном колодце журавликом грустно стыну», «тенью — возле дуба», «словно змея сворачиваюсь...» В затаенных, эфемерных зарослях-чувствах бьется, пульсирует боль. Но все-таки именно эти болевые сигналы и есть свидетельства жизни. Хотя и жизнь проявляет себя по большей части своим исчезновением. Птицы улетают, светится живая радуга — «меня же не замечают». Ветер «не смотрит совсем в лицо мне». «Все летит, кричит неудержимо. Улетает. Пролетает мимо». «И ничего со мной не происходит». Но и то, что происходит, немедленно превращается в «никогда больше». Это — цветок над бездной. «И на этом «больше никогда» мир наш держится». Как же решиться на жизнь и одновременно на это «никогда»? Как происходит преодоление?

На этом сопряжении нерешительности, отказа и преодоления, притягья строится женственная, зыбкая и все-таки жизнестойкая, как липы «зимостойкая кровь», поэзия Мары Мисины. На смену обеспокоенному «и ничего со мной не происходит» приходит понимание необходимости какой-то жертвы. Это вызывает к жизни материнский страх. Надо **быть** и потом **не быть никогда больше** для своего ребенка, для другого существа.

Ты дитя — дуновение ветра —
вдруг поднимешь меня, буду легкой,
легче пепла, и будем лететь мы
в пустоте, в пустоте бесконечной,
бесконечно от жизни далекой?

Мара Мисина. У мира глаза большие: Стихи / Пер. с лат. Л. Романенко. — М.: Сов. писатель, 1987.

Нет, так нельзя. «Я живу — не живу, что мне эти мгновенья!» Какие робкие попытки вырваться, пересилить земное тяготение покоя, нежно-растительного небытия: «Летать я учила червя

сомнений» — и в то же время не утрачена способность лететь, вместе со всеми мошками, пчелами, птицами, снегом, ветром... «Ты отпусти мое сердце на волю! Падать устала я и подниматься!»

Но в том-то и смысл, чтобы подниматься снова и снова. К лучшим страницам сборника можно отнести именно эти стихи-усилья.

Естественно, что опорой Мара-мать и Мара — дитя Земгале ощущает «тяжесть глины» и «святость корня», «золотые волосы» Лауры и «отчий дом» — традиционные устои национальной поэзии. Есть какая-то загадочность для русского читателя в образах Матери времени, велей и ковромысла лунной девы, когда они растворены в лирике. В то же время, есть у Мисини стихи о милой родине, написанные традиционным для этой тематики размером народной песни. Но такие, словно бы чисто умытые; не форсирующие звука и не приподымающиеся на носочки для декламации стихи о родном доме, как «Земгале. Субботний вечер», мне кажутся совсем особыми светлыми стеклышками в мозаике латышской патриотической поэзии.

Своеобразием, легкой женской загадочностью, странностью располагают к себе образы любовной лирики Мары Мисини. Это тема ускользающая, незаметно перетекающая в материнство. «Должна скрывать я жажду, живое все в мире нянчить...» Надо таить, сдерживать свое и утверждаться в любви к тому, что так беззащитно, чья жизнь так зависима, так связана с твоей. Здесь текучие, сменяющие друг друга, как латвийская погода, образы неожиданно фиксируются в очень конкретные состояния, индивидуальные портретные черты. Эти хрупкие и в то же время типологически узнаваемые состояния требуют еще каких-то сюжетных рамок для своего проявления.

Гармоничность, которую ощущаешь по мере того, как выстраивается представление о поэте, при всей неуловимости и как бы раздробленности образов и отражений, создается за счет существующей подспудно почти в каждом мотиве условия взаимности. Лирический герой — «случайный прохожий», «бродяга», зашедший «мимоходом» гость, тот, что «ветром стал» или «из огня блуждавших близко» — все они как будто находятся в оппозиции к этой хозяйке затишья, оберегающей свое уединение. Но на деле это две половины одного состояния. Ветер приходит и уходит. Но и его никто не удерживает. «Тишина обняла меня крепко», «Быстрым взмахом руки я его прогоняю: «— Отойди... Сам себя не обманывай тоже».

Стоит только непостоянной стихии — ветру переступить порог, его тут же гонят прочь: «Иди ты к черту! Я не стану плакать». Взгляду ветра отвечает «взгляд принцессы ледяной». Драматургически это развивается так. Первый момент встречи рождает сомнения: «Кем послан был ты,

светом или тучей?» Затем — благодарное: «За оттепель души благодарю...» И кульминация: «Пусть рухнет все, чем до тебя жила я». И спад: «Нет, нет, не все... / Наверно потому я ничего тебе и не сказала...» Встреча оканчивается ничем. В принципе, это модель встречи вообще. Даже состоявшейся. Поскольку состояться она может только в силу аберрации чувств. Партнеры равны: «принимаю тебя за другого» — «что ж, другая и я...» Повсюду проявляет себя заданность отказа: «Я как ежик...», «боюсь, что с молоком / придешь ты / поздно».

Ты — «крылья бутафорские вздымаешь...» Лирическая героиня делает то же самое — движением вниз: «Сниму эти крылья, чтоб мусор мести». Абсолютное снижение образа от возвышенного к грубо бытовому, от неба — к мусору. Заданность отказа проявляет себя последовательно. Это своеобразная мораль неосуществления, невстречи. Если Маяковский (поистине вихрь, жаждущий материального воплощения) сформулировал в свое время: «Клянусь себя не унизить цепью позорного благоразумия», то Мисиня возводит благоразумие в принцип, но не по соображениям ханжеской морали, а из невозможности «унизить любовь», из необходимости сохранения гармонии, равновесия. Таково требование взаимности, когда имеешь дело с ветром. И материнства.

Но, может быть, — думаю, что это действительно так — есть другой уровень взаимности в подтексте лирики Мары Мисини:

Укутай же, как младенца.
Свяжи меня, как злодея.
... верни мне разум ребенка.

Это обращение к тому, кто приходит навсегда. В образе «злой, замученной до срока», в облике «Коровьей Мары», которая не дает «ведьмам доить корову», той, кружащейся в танце Гатвес («... мое имя не выдай ветру...» — «Разлучить нас никто не сможет...»), той, летящей на «гнедом коне-свистулке», с «завистью в духе латышском» к уходящему ветру, с «крестьянкой медлительностью» решений — узнаем тот материнский народный образ латышской женщины-крестьянки, в одиночку борющейся с кормилицей-землей, с нуждой и мужским своенравием. И только строптивость ее — городская.

Так, расплетая и заплетая корни, воплощается, заземляется эфемерное поэтическое существование, возвращаясь на почву жизни, через Преодоление, ко всем земным связям.

Вот душа, легче перышка,
в теле тяжеловесном.
Вот тяжелая — в теле, легком,
как одуванчик, —
это семя людское, всхожее семя!

(Прогноз погоды)

Подобные мотивы есть и у другой латышской поэтессы этого поколения — Мары Залите, решенные несколько иначе. Есть другие переключки, характерные для современной прибалтийской поэзии. «Покупай, скорей, бабочка, плащ-дождевик!» — эти строки приводят на память кое-какие эпизоды из эстонской лирики; в принципе мошकारа — излюбленная поэтическая тема, тем более тема пчел — уводящая в древность.

Изредка оцарапает слух сентиментальная горка строк, где есть и «радости крохи» и «сладкий обман», и «боль расставанья» и «туман забвенья», но в целом, при всех переключках, в «больших глазах мира» отражается хрупкий, своеобразный характер поэтессы среднего поколения, которую не спутаешь ни с кем. Как гласит современная наука, «радиус действия каждого космического элемента должен быть продолжен по прямой до крайних пределов мира». Объем каждого атома — это объем универсума. Таковы выводы квантовой теории. Так что действительно, «У мира глаза большие, большие . . .»

Несколько слов о переводе. В принципе, содержание и поэтика Мары Мисини в переводе Ларисы Романенко бережно сохранены. Но и на этой книге еще раз убеждаешься в преимуществах большого состава переводчиков, так как не все тексты поддаются конкретной переводческой индивидуальности. Иногда переводчица уходит от рефрена в оригинале, очень выразительного поэтического приема. Повторены также типичные для переводов с латышского искажения русской грамматики: «боюсь я горькую осень», «то, что мы ждали», «мир, чье дыханье ты не замечаешь», «счастье то, что достичь невозможно». Громоздкие фразы, причина появления которых — непонятная скованность, охватывающая переводчика в тот момент, когда надо уйти от конструкции, естественной для родного языка переводимого текста и неудобной для русского. Попытки сохранить или размер, или логическую последовательность фразы приводят к появлению уродливых калек.

«То, что было уже, нам

напоминать . . .»

«Вновь с насеста упал пестрый

петух . . .»

Или: «Дать имя и тому, что и не безымянно . . .» Это напоминает филологическую шутку: «Англичанин не любит, когда мясо невольсыро».

То вдруг появляются странные слова: «ритмуешь», «бутафорные». Какие-то обездоленные звуками рифмы: птичьей — привычно, лишним — дышим, крути — мотив, тепле — ночлег. Не то чтоб они были запретны вовсе, но в названных случаях — никак не подкреплены ассонансами, звуковой нюансировкой ближайших слов.

Впрочем, многие из этих погрешностей в известной степени на совести составителей и кура-

торов переводного сборника, так как Лариса Романенко относится к тем авторам, которые работают добросовестно и до конца, при соответствующей поддержке и деловой критике редактора.

2. ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТИХИ

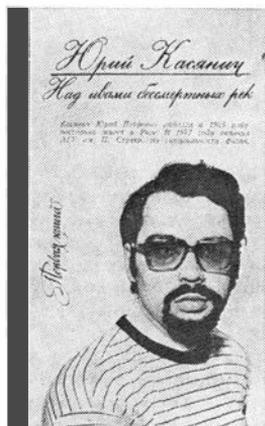
Может быть, они не нужны низачем. Может, они такая же часть бытия, как и все прочее. Поэзия растворена в жизни. Мы все вдыхаем и выдыхаем ее свежие, ее прямые, ее горькие, ее золотые волны, блики, звуки, краски.

Валерий Брюсов, которому великие современники отказывали в имени поэта, заставил нас тем не менее знать его стихи наизусть и оставил завещание юному поэту: «никому не сочувствуй, / Сам же себя полюби беспредельно». А потом «жрец Изиды светлокудрой» посвятил свои стихи-сочувствия и «женщине, в одежде белой», и России, и революции.

Вспоминаю об этом перед тем, как сказать слова-напутствия первой книге Юрия Касянич «Над ивами бессмертных рек», потому что в стихах Касянича как раз сильно то рациональное, рассуждающее начало, за которое называли не поэтом Брюсова, из-за этой логической последовательности мыслеобраза, закругленности и законченности словесных формулировок. Правда, не везде простота и завершенность достигают соответствующей высоты художественного выражения. Настоящими стихами, с моей точки зрения, можно считать в первой части сборника «Обновление», «Время», еще подряд четыре стихотворения, затем — «Праздник», «Хвоя», «Отрывок», «Выжду солнца», кое-что в «руинах империй», в «мечети» «Гротеска»; затем — «Горбун», «Прилив» и очень рациональный «Ответ». Не так уж мало.

И, как бы ни относиться к звучанию и стилю (Касянич — наследник поэзии 60-х плюс определенные тематические и стилистические влияния латышской поэзии) — это не та музыка, которая близка мне как читателю и как человеку, пишущему стихи, несмотря на целый ряд узнаваемых «сходств», таких, как в стихотворении «Время», как вопросы, которые «стонут на ребре» и т. д., — а все-таки мне нужна эта книжка, она оправдывает мои представления о том, какие черты должен в себе сохранять и культивировать поэт.

Мы понимаем, что тема «Дальше дверей допускайте отцов! Пусть разделяют страдания любимых» — это не только личное переживание поэта, но еще и проблема, обсужденная в прессе, материал газетных статей, предложения вра-



Касянич Юрий. Над ивами бессмертных рек: Стихи и переводы. — Рига: Лиесма, 1987.

чей-психиатров и социологов. Такова мера актуальности, свойственная как раз поэзии 60-х. Но мне уже неважна ни общественная принадлежность этих стихов, ни вознесенско-евтушенковские «шарниры жирных шей», — я сестрински благодарна за милосердное, любовное:

Может, узрев окровавленный стол,
там, где лежала босая,
кто-то почувствует в сердце укол,
дом свой бросая...

... за «прокушенную соску», за призыв заполнить «добром пустоты мира», за нежное:

Каштановая почка
в себе таит свечу.

Этот сборник я читала в рукописи. Собственно, то была совсем другая книга. Какие-то простодушные, но, на мой взгляд, достойные публикации стихи в сборник не вошли. Предпочтение отдано более усложненным текстам. Кое-что кажется мне неизбежным порождением первых книг («Былина», «Дом» — написанные в манере Юрия Кузнецова).

Можно было бы, вероятно, избежать таких выражений, как «внезапный недолгий очаг», «довела на край земли», ударений типа «зим^у»; таких гнусавых русских причастий, как «понявший».

Сдается мне, авторское вступление, где обсуждается вопрос о «священной жертве», как и «триолеты», нескромно провозглашающие высокую истину «вечен Поэт», — несколько преждевременны и — как бы это сказать? — провинциальны в своем детском желании стоять на цыпочках вровень с вечностью.

И еще об одной черте непреодоленной, как мне кажется, неразборчивости. Меня всегда удивляла та непосредственность, с которой некоторые коллеги сопрягают «сцену» и «цену», ловко удерживаясь между «слезами» и «весами». Грустно обесцененным выходит поэтическое слово из побоища с несметной ратью действительности. Это поколение Ахмадулиной, каждое простое движение возводя на котурны, не просто волнуется, а «подчинено волнению» и, таким образом стремясь к театральности быта и бытия, добивается обратного: расподобляет «действие», снижая его до «действия» («языческое действие»). На этом «базаре» продаются вещи, бывшие в употреблении, в том числе из словаря местных поэтов (Л. Азаровой, Н. Гуданца), но — таков рынок! — имитацию свежести надо признать удачной, беглое описание — ловким. А все-таки хотелось бы предостеречь автора от расхожей легкости уже освоенной в поэзии мимики, графики, поэтики. Надо ставить чистые эксперименты, всегда стремиться отодвинуть всю остальную, услужливо толпящуюся, предлагающую себя для описания жизнь, сохранив небольшую область своей особенной темы, делая

ее центром, в отношении которого должны расположиться в новом ракурсе одной поэтической мысли подчиненное пространство и время. Как это выстроилось в «Празднике». Впрочем, «базар» имеет такую «наживку», задушенную рыночными соблазнами расхожих мест. Это строка: «Арбузы плачут сладкими слезами». Такие строки-образы есть у Касянича и в других стихах, оприходованные, но не положенные в банк и не приносящие процентов: «льдина встает, как раскрытый рояль», «лед уносит река, как обломки корон». Сама по себе такая нескаредность (отсутствие нудных проработок и вытягиваний ассоциативного ряда до полной обескровленности темы) мне импонирует. Хоть, несомненно, я бы не удержалась от соблазна поиграть в белую (ледяную) крошку клавиш. Но вокруг топорчились другие обломки: «вешних смех и печаль», «счастья на всех» и «до слез». Может быть, это такой прием, чтобы образы блистали в мусоре, как осколки дорогой посуды на помойке. Но надеюсь, — и названные выше стихи, начиная с «Обновления», тому залогом, — это только этапы на пути к мастерству.

Жаль, что вкус — не врожденное свойство автора, но есть основания верить, что он «нарабатывается». А может, наоборот — должны сойти наслоения чужой поэтики. «О, радость ожога чужим языком». Вот тризна по родной речи. Действительно, «способности служа еще под замком». Не буду говорить подробно об этой пародийной строке. Достаточно двусмысленности, заложенной в слове «язык». Вспоминается строка Беллы Ахмадулиной: «Взгляды глаз твоих в кожу приму, как ожог». Как хотите, не верю (не случаю — слову). Вообще «горячими» выражениями не следует злоупотреблять. Экспрессия нуждается в обосновании. Лучше тихо сказать о том, что больно задевает. Это всегда сильнее, чем попытка выкричать убеждение, ощущение, которое можно мужественно обосновать. По крайней мере Касяничу кое-где вредит эмоциональный нажим и спешка. В спешке можно пробежать мимо собственного удачного образа. Где слово медленней, там и сильней. Где установка тверже, там и слово правдивей и весомей. Касяничу удастся так называемая гражданская тема, со всей ее современной лексикой и проблематикой. Но там, где не нужны никакие декларации, но есть покой, внимание, доброта, тепло, другие ценности, утвержденные еще под пером Льва Толстого для счастья человека: не причинять зла, ущерба, противостоять злу и ущербу, идти путем самоусовершенствования — тем он и силен.

Положительность, порядочность, в лучшем смысле — наивность и человечность чувств — вот основные достоинства стихов Юрия Касянича, из-за которых они становятся нужны и которыми он будет утверждать себя как поэт.

Какаясь переводов, хотелось бы пожелать автору (как ни странно это прозвучит) не стремиться к слишком большой завершенности текста в целом. Касянич-переводчик словно бы стыдится разломов, синкоп оригинала. В общем передавая подлинник верно и хорошим языком, он вносит в перевод собственное стремление к закругленности формы. Латышские авторы Касянича, при очень разных установках и звучаниях на родном языке, одинаково спокойны и непричастны собственным отдельным существованием, контекстам, подтекстам. Они являются в мир в каких-то стерильных синтаксических формах русского языка. Например, «Слово» у Бриедиса явно тяготеет к «гейневскому» немецкому балладному стиху. У Касянича это тяготение снято. Стихотворение рождается в чистых ямбах. А заканчивается непоэтичным ударением на «е» в слове «осветит».

Эгилу Плаудису свойственна нервная, синкопированная строка, он словно бы удивляется отзвукам собственных слов. А переводчик жизнерадостен и прям, как Майков (или как А. Кушнер в некоторых своих переводах).

И все же этот отзыв — не критика. Только внимательное, заинтересованное прочтение понравившейся книги. И пожелание новой.

На первой странице обложки: Альберт Голтыков. Эпитафия-посвящение невинно осужденным во время сталинского культа. Фрагмент.

На четвертой странице обложки: Юрис Утанс. На остановке.

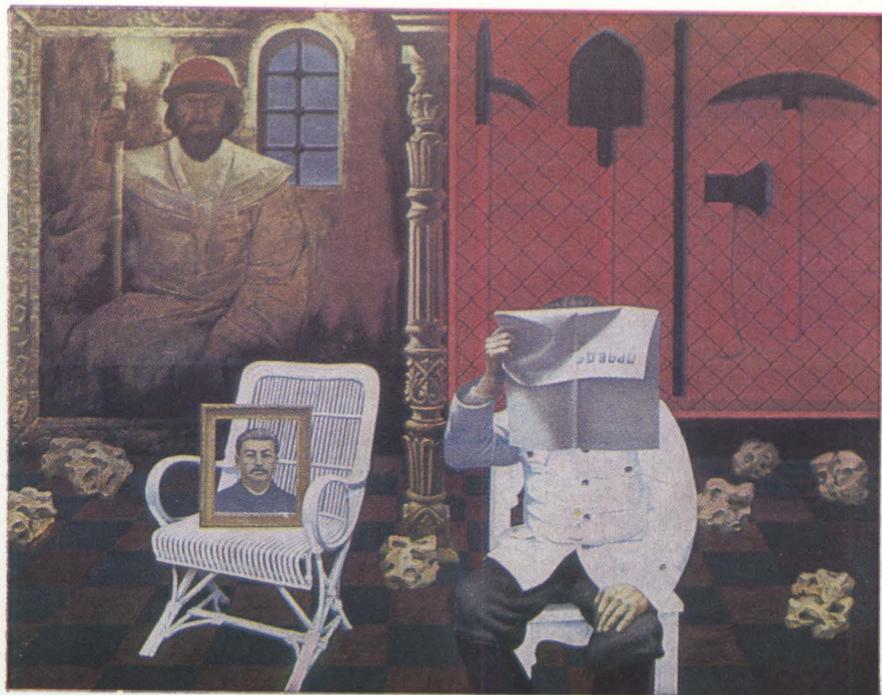
Фото Атиса Иевиньша и Айвара Лиепиньша

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниец, Язеп Дановскис, Мартиньс Зелменис, Айвар Лиепиньш, Ояр Мартинсон, Валия Станкевица, Роланд Фогт.

Сдано в набор 12.01.88.
Подписано к печати 12.02.88. ЯТ 00106.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,86 ус. кр.-отт.,
9,38 уч.-изд. л. Тираж 37 000.
Заказ № 1893. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.
Валаста дамбис. 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996.
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998.
отд. критики и публицистики 465990.
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии.
226081, Рига, Валаста дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

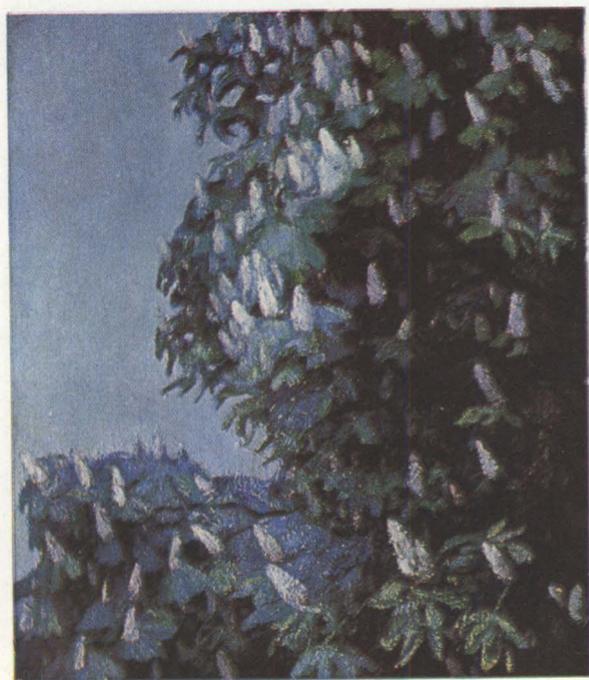
Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



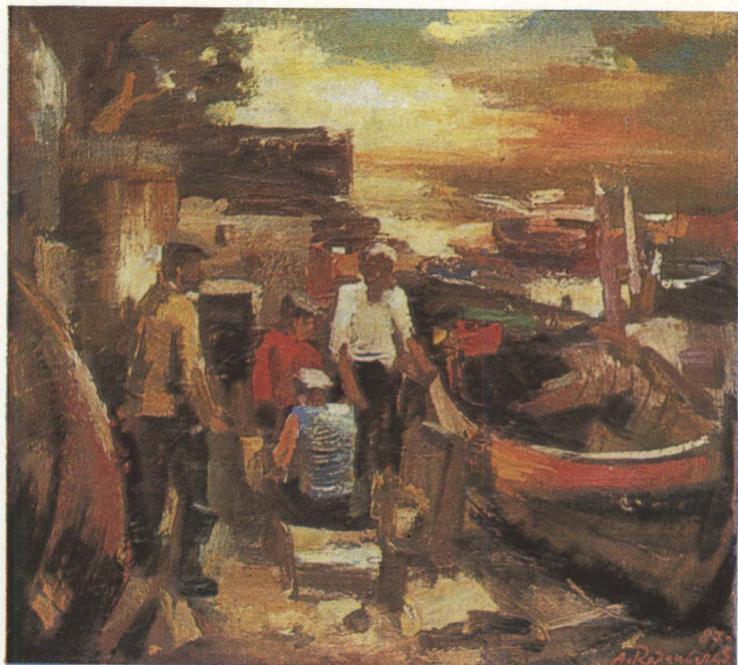
Альберт Голтыанов. Эпитафия-посвящение невинно осужденным во время сталинского культа



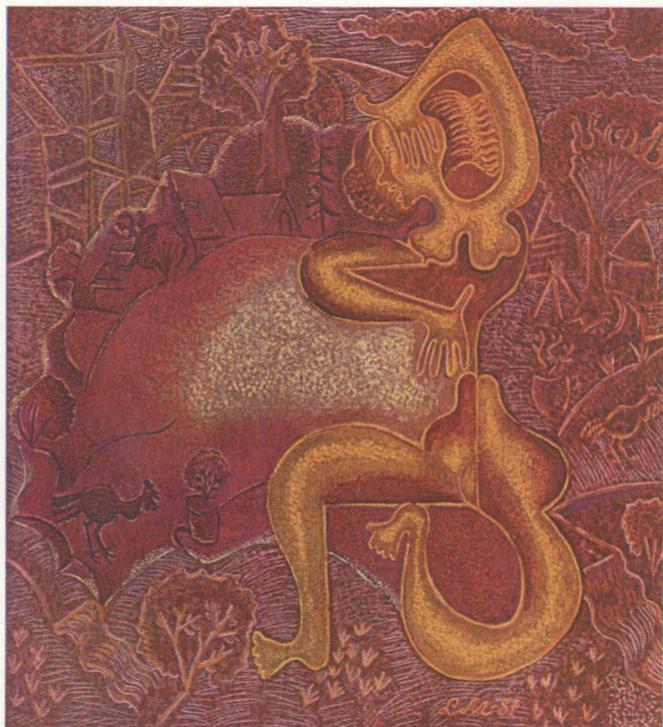
Даце Лиела. 815



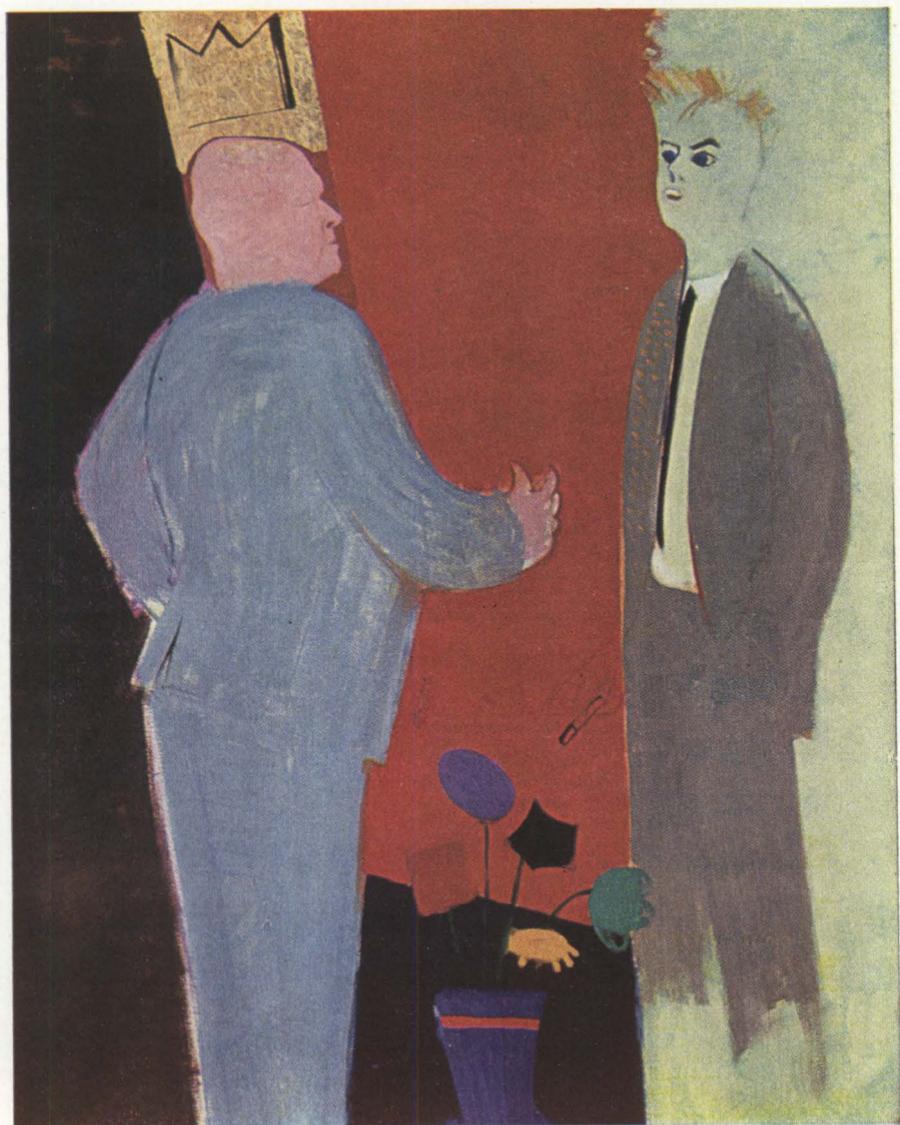
Бирута Делле.
Цветущие
каштаны



Андрей
Розенберг.
Старая
рыбацкая
лодка



Леонид
Мауринш.
Вечер
у реки



Хелена Хейнрихсоне. Обращение (фрагмент)

Фото
Атиса Иевиньша и Айвара Лиепиньша

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

В предыдущем номере мы опубликовали состав новой редакционной коллегии нашего журнала. Понимая, что у многих могут возникнуть вопросы по ряду фамилий, редакция считает своим долгом кратко познакомиться читателей с теми, кто так или иначе будет определять общественное и литературное лицо издания.

АБЫЗОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1921 г.) — литературовед, критик, переводчик. Автор ряда литературоведческих и критических статей в центральной и республиканской печати. Переводит произведения латышской классики, дайны, современных латышских и зарубежных писателей.

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА — русская поэтесса и переводчица, Председатель русской секции Союза писателей Латвийской ССР. Лауреат литературных премий им. А. Упита и им. Я. Эзериня. Автор книг «Мост» (1961), «Любовьство» (1967), «Сильный латышский акцент» (1974), «Стихи о травах, зверях, птицах» (1980), «Остров» (1985).

АЛЬКЕ АСТРИДА ЯНОВНА — критик, автор работ о латышской прозе. **БЕРЗИНЬШ УЛДИС-ЭГИЛ ПАУЛОВИЧ** (род. в 1944 г.) — латышский поэт и переводчик. Автор книг «Памятник козе» (1980) и «Поэтизм белорус» (1984). Переводит поэзию с русского, английского, польского, чешского, персидского, древнееврейского, тюркских языков.

ГУДАНЕЦ НИКОЛАЙ ЛЕОНАРДОВИЧ (род. в 1957 г.) — русский писатель, автор поэтических сборников «Автобиография» (1980) и «Голубиная книга» (1986), а также сборника рассказов «Субботние поцелуи» (1984).

ДИМИТЕРС ЮРИС АРТУРОВИЧ (род. в 1947 г.) — латышский художник, один из ведущих плакатистов и сценографов республики.

ДОРОШЕНКО ВИКА — переводчик. В ее переводах вышли произведения классиков латышской литературы Э. Бирзньмена-Упита, В. Лациса, В. Плудониса, А. Упита, а также Р. Эзеры, Я. Калныня, М. Клявы.

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (род. в 1929 г.) — лингвист, литературовед, культуролог, семиотик. Доктор филологических наук, профессор. Специалист по индоевропейскому языкознанию, мифологии и фольклору, теории литературы и кино, стиховедению. Член совета по латышской литературе Союза писателей СССР. Автор книг «Славянские языковые моделирующие системы» (1970), «Исследования в области славянских древностей» (1972) — обе книги в соавторстве с В. Н. Топоровым; «Очерки по истории семиотики в СССР» (1977), «Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем» (1978) и др.

КОСТЕНЕЦКАЯ МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА — русский прозаик и публицист, лауреат премии Ленинского комсомола Латвии, автор книг «Луна Холодного Лица» (1973), «Завтра на рассвете» (1976), «Далеко от Мексиканского залива» (1984), «На золотом крыльце сидели» (1984).

КРУПНИКОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1920 г.) — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории ЛГУ им. П. Стучки. Заслуженный деятель культуры ЛатвССР. Автор более 100 научных публикаций, в том числе книг «Палитра лжи и правды» (1980) и «Латвия конца XIX в. — 1945 г. в работах немецких публицистов и историков».

НИКИФОРОВИЧ ГРИГОРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ (род. в 1946 г.) — доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института органического синтеза АН ЛатвССР, автор более 100 научных публикаций и 5 монографий, а также двух книг, вышедших в серии «Эврика»: «Беседы о жизни» (1977, в соавторстве с С. Г. Галактионовым) и «Почти природное лекарство» (1986).

ПЕТЕРС ЯНИС ЯНОВИЧ (род. в 1939 г.) — латышский поэт, заслуженный деятель культуры ЛатвССР, лауреат премии Ленинского комсомола Латвии, Председатель правления Союза писателей Латвийской ССР, автор книг «Четвертая книга» (1975), «Предчувствия» (1978), «Ремонт будильников» (1980), «Кузнец кует на небе» (1981), «Раймонд Паулс» (1982), «Перепись населения» (1982).

СКУЕНИЕКС КНУТ ЭМИЛЬЕВИЧ (род. в 1936 г.) — латышский поэт, переводчик, критик. Автор книг «Лирика и голоса» (1978), «Завяжи в белый платок» (1986). Перевел на латышский язык «Слово о полку Игореве» (в соавторстве с У. Берзиньшем), пьесы Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. П. Чехова, ряд произведений зарубежных писателей и поэтов.

СТРАДИНЬ ЯН ПАВЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — электрохимик, академик АН ЛатвССР, историк науки, председатель Латвийского объединения историков естествознания и техники, автор книг «Люди, эксперименты, идеи» (1964, 1965), «Химики, имена которых нельзя не знать» (1967), «Этюды о прошлом латвийской науки» (1970) «Из истории естествознания и техники в Прибалтике» (1975).

СТРЕЙЧ ЯНИС ЯНОВИЧ (род. в 1936 г.) — кинорежиссер, автор картин «Лимузин цвета белой ночи» (1981), «Помнить или забыть» (1981), «Чужие страсти» (1983), «Встреча на Млечном Пути» (1985), «В заросшую канаву легко падать» (1987).

ТИМЕНЧИК РОМАН ДАВЫДОВИЧ (род. в 1945 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, специалист по истории культуры начала XX века, автор книги «Печальную повесть сохранить...» (1985, 1987) — в соавторстве с А. Л. Осватом.

ШАПИРО АДОЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1939 г.) — главный режиссер Рижского ТЮЗа, народный артист Латвийской ССР, автор ряда статей по проблемам современного театра.

